

Алексей ЛИВАНОВ

г. Петрозаводск

1983, декабрь

Встреча была столь неожиданной, что они оба опешили. Стояли и удивленно рассматривали друг друга.

— Ты что здесь делаешь, Гера? — первым пришел в себя Юрий Викентьевич.

Титов еще не успел спрятать пачку сигарет «Прима», растерянно стоял и шевелил губами, не умея выдать ни звука.

— Значит, самоволка за куревом. Так и запишем — угрожал, — это была дивановская присказка, и на нее мало кто обращал внимание. Разве что новички.

Юрий Викентьевич отобрал пачку и скомандовал:

— Пошли.

Они вышли из магазина № 64 и в полнейшем молчании направились к школе. И чем ближе подходили, тем медленнее, как приговоренный к эшафоту, вышагивал Гера.

— Юрий Викентьевич, — наконец обрел дар речи Титов, — верните, пожалуйста, сигареты. Меня опять бить будут.

— Давай-ка присядем, потолкуем.

Слева, прямо у школьного забора, лежал штабель бревен. Диванов очистил место от снега и хлопнул ладонью по стволу рядом. Гера слегка поколебался и все-таки решился — сел.

Палал едва заметный снежок. Легкий морозец пощипывал щеки. Долго в эдакую погоду теплолюбивому не усидеть, но педагогический понт требовал хотя бы некоторых жертв.

— Ну, и кто тебя бить будет?

Но Гера уже расчухался и запомалкивал, соображая, как теперь отречься от сказанного.

— Давай так договоримся, Герман. Я хочу тебе помочь. Мне же все понятно: ты не из этой кучи дерьма. Прочел из любопытства твоё личное дело и ужаснулся: это преступление, что тебя направили к нам. А что отец, ничего не мог сделать? — но увидел скукожившееся лицо воспитанника и поправился. — Вопрос риторический. Знаю, ты не куришь, курево, пожалуй, Ремню несешь или Фофану. Так и сам не заметишь, как шестеркой станешь. Что молчишь? Так-так. Уж Герман близится, а полночи все нет.

— Я не понял.

Окончание. Начало в № 9-10, 11-12 за 2010 г., №1-2 за 2011 г.

СПЕЦУХА

ХРОНИКА ВНЕКЛАССНЫХ СОБЫТИЙ

– Шестеркой, говорю, станешь.

– Не стану.

– Уже стал, – жестко прервал его Юрий Викентьевич. – Сегодня за сигаретами бегаешь, завтра будешь потники стирать.

Дивановская борьба за стирку носков хозяйевыми успехом не увенчалась. При нем они не стирались вообще, а режимникам эти дела были до лампочки.

– Не буду.

– Брось! Пойдешь ко мне в отряд? – вопрос возник спонтанно, как бы независимо от воли.

Ответ последовал незамедлительно:

– Пойду.

– Значит, решаем так: забирай свои сигареты, и как вышел, так и возвращайся. Я тебя не видел. Давай.

Вот он был, Гера, и нет его.

Диванов еще посидел пару-тройку минут, размышляя о правильности своего поступка, но ни к каким выводам не пришел, решил, что время покажет, и направился на проходную. До приема отряда оставалось время, и он покурил на проходной, потрепался с дежурным о боях в Афганистане и только после этого начал искать Володю Пенькова. Тот обнаружился в мастерских (а где же ему еще быть?) за домино. Он и три мастера забивали «козла».

А в цехах, несмотря на отсутствие взрослых (экая беспечность: могла и драчка возникнуть, и травма случиться), бурлила работа: в токарном нарезали резьбу на прутьях для входивших в моду обувных полок, в слесарном большими плоскими напильниками срезали заусенцы от литья с корпусов английских замков, а в столярном сколачивали ящики для укладки этих же стражей квартир. Каждый пацан знал расценки и мог посчитать, сколько он сегодня заработал. И трудились они гораздо спорее взрослых.

Время от времени один из мастеров вставал и обходил цеха для профилактики конфликтов, а они изредка возникали, особенно если кто-то пытался перекинуть чужую деталь в свой ящик. Это кроме дани «буграм»: им откидывали по таксе, и Диванов подумывал, как бы и эту дурацкую традицию изничтожить, не затрагивая интересы мастеров, поскольку во время «козлиное» именно актив обеспечивал дисциплину.

– Привет мастерам спорта, – поздоровался

Юрий Викентьевич и обратился к Пенькову. – Информация к размышлению. В седьмом «б» появились сигареты. «Прима». В количестве одной пачки.

– Откуда? – удивился Владимир Иванович. – Утром у них шмон был – все вытрясли.

– На сто процентов верно.

– Ладно, разберемся. Где черпаешь сведения?

– Сорока на хвосте принесла.

Делиться источниками в школе не было принято: есть у тебя осведомитель, вот и прекрасно, а кто он, что он – никому не интересно. Хотя Диванову иметь своих стукачей по рангу не положено.

Пеньков – мастер обыска и досмотра. До школы он в транспортной милиции служил. Профи. Ни обломьш спички, ни шепотка табаку мимо него не проскочат, и если он на досмотре, пацаны заранее избавлялись от компромата.

А тут и восемнадцать пропикало. Второй коллектив уже построился в гулком коридоре мастерских. Линейка. Подведение итогов. Заработок за позавчера. Учет точный, вопросов не возникает. Усердные поощрены, ленивые наказаны. Рублем, естественно. Нарушений дисциплины нет. Пора забирать свой родной седьмой «г».

«Г» он и есть «г». Отряд сформировали только в конце октября из самых последних во всех смыслах этого слова. За три года Диванов провел уже два выпуска, посмотрелся-наконфликтовался, но такого еще не было. Юрию Викентьевичу с Ириной Петровной круто досталось в ноябре, пока они политикой кнута и халвы не навели хотя бы видимость порядка. Было подозрение, что, кроме собственной разболтанности, мутилась вода Ремневым, но сие осталось недоказанным. Редкий день, чтобы кто-нибудь из отряда не сидел в карцере. Но и усердных в делах поощряли: то сладостей на свои деньги прикупят, то выбьют внеочередное свидание, а то и выход в город для пяти-шести воспитанников. Так или иначе, но к середине декабря седьмой «г» уже мало чем отличался от остальных отрядов школы.

Светлана Андреевна Личанская возражать против перевода Титова из «б» в «г» не стала, хоть и удивилась:

– Зачем он вам? Проблемный мальчик.

– Проблемы чаще всего мы создаем. Как говорит известный педагог, нет трудных детей, это им

бывает трудно. Думаю, найду с ним общий язык. Есть в нем нечто.

Со Светланой Андреевной у Диванова сложились прекрасные отношения, хотя педагогический коллектив её недолюбливал. Она состояла в жёнах полковника ГБ, и полковничьи замашки вошли в её плоть и кровь. У неё выработался командирский голос, она терпеть не могла возражений, и переубедить её можно было только подав идею так, словно она сама автор этой идеи. По сути, она была консервативна и очень неохотно шла на нововведения.

Пачка «Примы», уже початая, была обнаружена Пеньковым за решеткой вытяжки. Определить хозяина, естественно, не удалось. Она могла лежать там с сотворения мира. Конечно, можно было построить отряд после отбоя в игровой и продержат в строю часа три-четыре, что и практиковалось не однажды, и найдется хозяин сигарет из шестерок, но это будет мнимый владелец, а до подлинного не достучишься, хоть к Господу, хоть к совести зывай. Изъял, составил акт, на этом и успокоился.

Ирина Петровна восприняла переход Титова не то что спокойно, а даже с энтузиазмом.

— И правильно, — резюмировала она. — Лучшее его, а следующий новенький в «б» пойдет. Верно?

А вот Галина Павловна для приличия поворчала:

— Все за моей спиной решаете! Тяжело было посоветоваться? Я в него уже столько сил вложила!

Сил она не вкладывала никаких, и без очков было видно, что она рада избавиться от строптивного воспитанника.

— Мы вам бесконечно благодарны, Галина Павловна! — воскликнул Диванов. — Надеюсь, вы и в дальнейшем не оставите нас без мудрого совета. Я к вам еще неоднократно обращусь.

Иронии не услышала. Или не захотела услышать. Развернулась и пошла с улыбкой.

Диванов в тот же вечер поговорил с режимниками.

— Мужики, я без претензии, сам все кушаю, но стукнули мне, что Геру едва ли не каждый вечер бьют, присмотрели бы за парнем, а? Его ко мне перевели в отряд, сами понимаете.

— Да что ты, Юрок! В нашу смену ни-ни.

Бдим, смотрим, контролируем. Может, в другие смены? — за всех ответил Валентин Яковлевич Граббе.

— Так я вам и поверил.

Валя — случай уникальный. Еврей двадцати трех лет — и режимник. Нонсенс. Почти как еврей-колхозник. Диванов, влача эту же самую лямку, сошелся с ним ближе, чем с остальными. Он собеседник занимательный, и круг их интересов, несмотря на разницу в возрасте, был созвучным. В Вале Диванов был уверен, но отследить за всеми коллизиями можно было только при усердии, а когда же чайку попить, вздремнуть часок-другой?

Через неделю между Юрием Викентьевичем и Титовым установился добрый контакт. Гера если и не был до конца откровенным, то, во всяком случае, делился всем, что не шло вразрез его понятию кодекса чести. А воспитателю и не нужен был стукач. Он вообще относился к ним с безразличностью.

Ирину Петровну Титов начисто игнорировал. Не конфликтовал, не пререкался, не грубил, а как бы не замечал. Диванов решил, что это результат его неудачной школьной влюбленности, психологический перевертыш: Гера обращался в женоненавистника.

— Ой, сомневаюсь, — сказала Бодаева, когда Юрий Викентьевич поделился с ней своими соображениями. — Он просто высокомерен до невозможности. Самооценка заоблачная.

— Возможно, возможно, — почти согласился Диванов. — Только мне неясно, откуда она? Талантов за ним особых не наблюдается...

— Вы личное дело читали? Единственный ребенок, из зацелованных. Папа хоть и простой строитель, но член райкома партии, мама — домохозяйка с педагогическим образованием.

Подобные зацелованные встречались в школе редко, и Диванов временами задумывался: а не могло ли и его чадо оказаться за этим забором? Много лет ему потребовалось, чтобы однозначно ответить — нет. Преступниками не рождаются, ими становятся.

Или все-таки рождаются?

Нет, конечно, от тюрьмы и сумы магический круг не очертишь. Мало ли случаев, когда на скамью штрафников приводит простое стечение обстоятельств. Водитель, скажем, не заме-

тил истертой разметки пешеходной дорожки и человека сбил, цветочный горшок с подоконника упал на чью-то беспечную голову — неосторожное убийство, да мало ли! Диванов вспомнил, как студентом ввязался в драку (глубокий противник всяческого насилия) только потому, что недалеко стояли девчонки из его группы. Не мог не ввязаться. Да что Диванов! Пушкин, не разделявший взглядов декабристов, был бы на Сенатской площади, окажись в этот день в Петербурге, только потому, что там стояли его друзья. Но это некорректная аналогия.

Школа усиленно готовилась к встрече Нового года. Каждый отряд монтировал свою программу, а у воспитателей седьмого «Г» как-то все не клеивалось. Найдут нечто, а это уже в другом отряде схвачено, а другое — просто затаскано.

— Не нам надо думать, — сдалась Ирина Петровна. — Давайте ребят подключать.

Решение было верным: все не только из разных школ — из разных областей, по крупице от каждого, и начал складываться мозаичный сценарий. Теперь не к чужим бытовкам бегали подслушивать, а сами прятались. Даже вечно себе на уме Саша Нарыльский подсутился и выдал игру с Дедом Морозом, даже тупой Фофан, за которым ничего приличного не числилось, очень прилично спел незнакомую новогоднюю песню вполне съедобного содержания. Юрий Викентьевич принес гитару, и к тридцатому декабря у них сложился музыкальный мини-спектакль с игровыми моментами.

И прошел новогодний праздник на «ять». И, к удивлению, бывший в легком подпитии шефский Дед Мороз не подкачал, подхватил идею Сашки Нарыльского, подыграл — бегал по всему актовому залу, выхватывал маленьких детишек сотрудников школы, втаскивал их на сцену и заставлял петь, или читать стихи, или танцевать за сладкое вознаграждение.

Юрий Викентьевич, единственный из воспитателей, вышел на сцену вместе с ребятами и до седьмого пота пел и выплясывал с ними.

Но впечатлительней всего был хор. Им начинался и заканчивался праздник. Ростислав Семенович с аккордеоном в руках был объемнее, чем шестьдесят хористов. Он, несмотря на некоторую колобковатость, легко передвигался по сцене и, казалось, дирижировал всем телом, пос-

кольку руками было невозможно. Талант не спрячешь.

Светлана Андреевна была в восторге, тем более что на празднике присутствовала заместитель министра.

— Молодцы, мальчики! — восклицала она, обнимая по очереди Неронова и Диванова. — Вам — по благодарности, детишкам сообразим сладкий стол.

Сверх объятий досталось по поцелую, и Диванов подумал, что директрисе явно не хватает ласки. Полковник вечно занятой и утомленный, возраст не юношеский, вот и не хватает сил на жену. Особенно, если приходится растрачиваться на любовницу, а полковникам она по штату положена.

— У меня другое предложение, — отозвался Юрий Викентьевич. — Позвольте нам выход в город.

— Куда? — насторожилась Личанская.

— На Театральную площадь. Там елка, сказочный городок, ледяные горки и прочее, прочее.

— Вот этого прочего я больше всего и боюсь, — вздохнула директор. — Как бы не набедакурили. Ведь все-таки седьмой «Г».

— Я, естественно, никаких гарантий дать не могу, но если к отряду пристегнуть Ремнева, эксцессов не будет процентов на девяносто девять.

— Один процент все-таки оставляете? Хорошо, я сегодня добрая.

Куй железо, не отходя от кассы. Завтра подойти было бы бесполезно — отказ без разговоров.

А на Ремня положиться можно было: командир школы и непререкаемый авторитет.

На Театральной площади Юрий Викентьевич растерялся — отряд исчез. Минуту назад все были на глазах, и вот на тебе — ни одного. Он засуетился, забегал по снежным избушкам, по-за горкам, за правительственную трибуну заглянул. Нашел Саню Ремнева.

— Где отряд? — крикнул Диванов.

— Да не переживайте вы, Юрий Викентьевич, — успокаивал командир. — Никуда они не денутся.

И неожиданно для себя успокоился Диванов. Признаться было неловко, да он и не признавался, но за Ремнем чувствовал себя, как за щитом. Под эгидой. И хоть не видел никого из своих па-

цанов, ощущал их присутствие. Он отошел к памятнику Урицкому, поднялся на пьедестал и от туда оглядел площадь. На дальней ледяной горке заметил Геру. Юрий Викентьевич легко спрыгнул и едва не угодил в объятия милиционера.

— Нарушаем, товарищ? — не столько спросил, сколько утвердил блюститель порядка.

— Я детей потерял, товарищ сержант, — заоправдывался Диванов, — вот и забрался посмотреть, где они.

— И увидел?

— Одного.

— А много их у тебя?

— Восемнадцать, то есть девятнадцать, — поправился Диванов, вспомнив Ремнева. — И потом, что вы мне тыкаете?

— Ты еще с Нового года не расчухался, а туда же: дети, тыкаете... Документы есть?

Юрий Викентьевич вытащил паспорт. Сержант долго рассматривал его, затем сунул во внутренний карман полушубка и сказал:

— Пройдемте.

— Куда? А как же дети?

Но милиционер не слушал его и двинулся к проспекту.

Диванову ничего не оставалось, как поплестись следом.

Откуда-то появился Ремень.

— Куда вас, Юрий Викентьевич?

— Санек, я скоро вернусь и надеюсь на тебя. Если через час меня не будет, собери ребят и — в школу.

Горотдел находился в пяти минутах ходьбы от площади.

— Вот, хулиганил, — доложил сержант дежурившему по отделу майору. — На памятник забрался.

— Я пытался объяснить сержанту, а он и слушать не стал. У меня группа детей из спецшколы...

— Да ты что делаешь? — рявкнул майор. — Ты кого мне в очередной раз, праведник, приводишь?

— Нарушал, — упрямо тянул принципиальный сержант. — На памятник, вот... Как бы осквернение.

— А если они сейчас там отдыхающих детишек на уши поставят? Ты будешь отвечать? — не пожимая тона, спросил дежурный.

— Возвращайтесь к детям, — майор заглянул в паспорт, — Юрий Викентьевич. С Новым годом вас и удачи.

— Дак он же поддатый, — не сдавался сержант.

— Если ты первого января будешь таскать всех опохмеленных, через полчаса мне складывать их некуда будет.

— А я и не опохмелённый. Я вчера ничего кроме шампанского не пил, — добавил Юрий Викентьевич, пряча паспорт в карман куртки.

Диванов торопливо шагал по проспекту, проклиная всю доблестную милицию. Настроение было бесконечно испорчено.

Он дважды обошел площадь и только по второму, почти безнадежному кругу обнаружил Титова. Тот, раскрыв рот, глазел на Деда Мороза со Снегурочкой, которые загадывали загадки. Очень, кстати, недетские. В руках у Геры был маленький пушистый медвежонок.

— Вот, выиграл, — выпалил он.

— Молодец! А где остальные?

— Пошли к речке. Сказали, через полчаса будут. А может, и раньше. Там, говорят, утки плавают.

— Пойдем к ним.

— Давайте еще на Деда посмотрим, — взмолился Титов. — Интересно ведь. Вдруг еще что-нибудь выиграю.

— Хорошо, смотри, выигрывай. А что ты думаешь со зверем делать? — Юрий Викентьевич ткнул пальцем в медвежонок.

— Не знаю, — пожал плечами Гера.

— А ты подари Ирине Петровне. У тебя его все равно отнимут и обменяют на сигареты, а ей приятно будет.

День первого января тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года выдался малоснежным и слабозимным. Легкий иней покрывал деревья и коротко остриженные с осени кусты акаций. Ветра не было.

Небольшая речка Форелька перед плотиной разливалась и не замерзала там даже в сильные морозы.

«Нечего им у речки делать, нет их там», — думал Юрий Викентьевич, но все равно шел.

На берегу стояло несколько пожилых людей. Они бросали кусочки хлеба трем уткам, по непонятной причине не улетевшим на юг.

— Извините, — обратился Диванов к седоусому

дедуле с тросточкой, — вы не видели здесь ребят?

— Их много? — оживился седоусый.

— Восемнадцать человекчиков.

— Видел, видел, как же! Постояли тут пару минут и пошли восвояси. Один еще палку в уточек кинул, да не попал, изверг («Фофан, — подумал Диванов, — больше некому»). И так Богом обиженные, заплутали, а тут — палку! Я ему замечание сделал, так они засмеялись, меня обозвали, как мы немцев на фронте не обзывали, и подались.

— А куда, не заметили?

— Туда, — старик махнул рукой в сторону Речного вокзала.

Юрий Викентьевич тяжело преодолел крутой склон и направился к Музыкальному театру, на задах которого у служебного входа и обнаружил своих. Они стояли плотной кучей и курили.

«У них ведь не было ни денег, ни сигарет», — пришло в голову Диванову, и первым порывом появилось желание вырвать, накричать, построить, увезти. И больше никогда и никогда. И ни за что.

Но тут же остыл. Реакция бешенства могла вызвать куда как худший ответ. И справедливый гнев, хоть правда, да не та.

Юрий Викентьевич спустился к стрелковому тирю общества «Динамо», на стене которого висел никогда не повреждаемый телефон-автомат. К милиции, что ли, относились вандалы с почтением?

— Кто сегодня старший? — спросил он у откликнувшегося дежурного. Сам ведь утром видел его, но никак не мог вспомнить: слишком уж много накрутилось вокруг за несколько часов.

— Коваль Ванька.

Ивана Андреевича Ковалю всегда ставили на дежурство в праздники за трезвый образ жизни.

— А Володя Пеньков?

— Выходной.

— Я скоро с пацанами возвращаюсь. Они стопроцентно гружеными будут. Надо основательный шмон провести. Кто дежурный администратор?

— Федор Ильич. Только он тяжелый.

— Ладно, Ивана предупреди. Мы минут через сорок будем. Почему сам не шмонаю? Что я, перед всей публикой эту процедуру проводить бу-

ду? Окстись и жди. Пара пачек сигарет тебе точно перепадет.

Возвращался отряд во взвешенном настроении. До проходной от автобуса шли гурьбой, а перед школой построились.

— Все в комнату свиданий! — скомандовал Иван Андреевич.

Недовольно ворча, пацаны втянулись в узкое, но длинное помещение, уставленное по периметру креслами из актового зала, где недавно их по ветхости заменили. Впереди шел Диванов, замыкал — Коваль. Новогоднего настроения у мальчишек как не бывало, но чувствовалась надежда, что досмотр не будет столь тщательным, как при Владимире Ивановиче.

Урожай собрали изрядный: три пачки сигарет, два коробка спичек, пятнадцать рублей и бутылка пива между ног у Фофана.

— Акт составляем? — спросил Иван Андреевич.

— А ты как думаешь?

— Надо составлять.

— Ну, и составляй.

Можно было избежать акта, который нес если не взыскание, то порицание во всяком случае, но Иван — мужик полупринципиальный. Сейчас акта не составит, а через день вложит, и будет еще хуже.

1991, август

Возвращение Диванова из Бердянска было триумфальным. Солидная делегация встречала его на вокзале. Калугин даже развернул транспарант «СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ДЕМОКРАТИИ». Кожевников монументально стоял рядом, скрестив руки на животе. Какая-то клубная девица держала в руках букет полевых цветов.

Диванов не сразу и сообразил, что это он удостоен столь пышной встречи, озирался пару раз, но присутствие Калугина и Кожевникова сомнения развеяли.

— За что такая честь, господи? — ошарашенно спрашивал Диванов, делая узкие глаза круглыми. — Что-то я никак в толк не возьму.

— Ладно, скромность не всегда украшает, — низкорослый Калугин снисходительно похлопал его по плечу. — Наслышаны и навидены.

— Ну да, — вошёл в разговор Кожевников. — Грудью на защиту Белого дома. Но пасаран. Патриа о муэрте.

Прояснилось. Всё не стоило бы выеденного яйца, если бы не патологическая способность Эрика пусть самому мелкому, но, по его понятиям, нужному шажку придать гиперболическую важность.

А всё сложилось из цепочки случайностей. Случайные связи опасны. Конкретная истина, если следовать Гегелю.

Из Бердянска Диванов выехал на неделю позже остальных. У него приключился романчик с лагерной поварихой из местных. Кошкой вцепилась она в северного, не совсем-таки флегматичного мужичка, и неделя протекла пляжным песком сквозь пальцы — в нирване. Он бы ещё побарахтался в легкой зыби плотской неги, но были у него судьбоносные дела в Москве: предстояло согласовать детали грядущей публикации в журнале «История в школе» и встретиться с двумя-тремя очень нужными людьми. Эрик Матфеевич настоятельно просил привезти как можно больше свежей литературы и выделил для этого немалые деньги.

В столице он появился рано утром двадцатого и уже на перроне был ошеломлён убийственным известием: президент Горбачев круто заболел, едва ли не смертельно, находится в таинственном Форосе, а власть перешла к странной аббревиатуре ГКЧП во главе с вице-президентом Янаевым. Теперь уже даже не вице, а и.о.

Шёл мелкий дождь. Всё вокруг было серо и буднично. Люди по-московски торопливо шагали по своим повседневным делам, словно ничего и не произошло, словно и не находился в губительной опасности ими же недавно и всенародно избранный президент России Борис Николаевич.

Обыкновенно, бывая в Москве, любил Диванов пешком прогуляться от вокзала до Бульварного кольца, но тут, будто что-то кольнуло, спустился в метро, проехал две станции, не выдержал — вышел.

Позвонил диссидентствующему историку Нифантьеву, скандально известному «Иронической историей Древней Руси».

— Что в Москве происходит? — глухой вопрос в трубку.

— Это ты, Юрка? — сразу узнал Нифантьев. — Ты где?

Диванов выглянул из будки.

— По-моему, Нижегородская, — неуверенно ответил он.

— Иди к Садовому. Там на углу кафешка. Жди меня.

Дождь усиливался, но Диванов не замечал его.

«Как же прав был Эрик, — запоздало каялся он, — и всё это наше благодущие, наше авось. Ничего не происходит само собой, и всё нужно доделывать. Как же вокруг гадко. А что дома? В этом зеленом болоте? Краю вечнозелёных помидоров и непуганых коммунистов? Тоже чрезвычайное положение?»

Мимо проехали три «Урала» с солдатами. У них были автоматы. И, может быть, сапёрные лопатки. Заточенные. Крупная лошадиная дрожь пробежала по спине. Стало страшно. И без того чужая Москва оборачивалась враждебной.

Нифантьев объявился минут через сорок. Как всегда всклокоченный, небритый, с прыгающей походкой.

— Пойдём по беляшу съедим, — это вместо приветствия. — Я не завтракал. И не ужинал. Не до того. Ты меня чудом застал. Я у Белого дома. Там прописался. Но — туго. Народу мало.

Два беляша и два жиденьких чая.

— Со мной пойдёшь, — не то попросил, не то приказал и достал из внутреннего кармана мятого пиджака шкалик водки.

— За победу.

— Вперёд не пьют, — возразил Диванов.

— Тогда для укрепления духа.

Жуя беляш и запивая из одного стакана (из второго чай выплеснул — под водку), передавал жуткие слухи.

— Хотели сбить самолет Ельцина, когда он летел из Казахстана от Назарбаева. Говорят, ракетчики отказались. Взяли штурмом Завидово, но там Бориса не оказалось. И мало, мало народу. Надо собирать. Теле- и радио — всё под колпаком у пьяных гэкачепистов. Я знаю, что говорю. Янаев и Павлов вечно под киром. Ты их пресс-конференцию видел? А я видел. Янаев и там был хмельной.

Снова вышли под дождь. Пешком. К Белому дому. Картины впечатляли и ужасали: на площади (вырисовывались в памяти иллюстрации к

рассказам о восстании пятого года) выстроились мощные баррикады. Их дополняли тяжёлые грузовики, катки для укладки асфальта, автокраны, пушками торчащие железобетонные балки. Даже был один танк.

Полдня промотались они по площади, сходили к гостинице «Украина», откуда, по слухам, должен был начаться штурм Белого дома, но в здание их не пустили.

— Ты служил? — спросил Нифантьев.

— Год. Командир мотострелкового взвода, но не командовал им ни секунды.

— Сейчас узнаем, — куда-то нырнул, с кем-то разговаривал.

— Пока не надо. Если потребуемся — найдут.

Народ прибывал. Начался митинг. Выступающих было много, а речи зажигательные, но не истеричные. Из всех Диванов запомнил только Глеба Якунина и Елену Боннэр. Ждали выступления Ельцина. Он вышел в сопровождении охраны с пуленепробиваемыми щитами.

— Ельцин! Ельцин! — кричала толпа, и вместе со всеми кричал Диванов, сжимая кулаки. Ему хотелось драться и плакать.

— Можно построить трон из штыков, — говорил президент, — но просидеть на нём долго — нельзя! Дни заговорщиков сочтены! Россия будет свободной.

— Свобода! Свобода! — взрывалась толпа и вкупе с нею Диванов. Он чувствовал себя частью её, он перестал быть личностью, и от этого душа его не ущербилась, наоборот, ширилась и восторгалась, и летела ввысь, омытая каплями дождя.

К вечеру площадь была запружена. Тысяч сто, пожалуй, было, а может быть, и больше, но Диванову казалось, что собралась вся Москва, да что Москва — Россия. Не думалось — СССР, но — Россия.

Всё напряглось в ожидании штурма. По радио попросили женщин покинуть площадь. Но утреннего страха не было, как не было и самого Диванова.

«Не посмеют они стрелять в народ, давить народ, — радостно думал Диванов. — А если посмеют — это будет преступление, каких свет не видел».

Радостно думал и готов был умереть.

Нифантьев пришёл с западным журналистом.

— Вот, — показал на Диванова, — мой друг с Се-

вера. Специально приехал защитить свободу и демократию.

Юрий простил и друга, и специально — не до того. И в такую минуту кругом — все друзья.

Журналист что-то спрашивал, Юрий что-то отвечал. Оператор стрелял камерой.

Эта съёмка и сделала Диванова героем. Клубные видели телепередачу (в эти дни все висели на телевизорах), а в ней тридцатисекундный дивановский эпизод, и передавали не видевшим знакомым на словах, и далее бежала весть по цепочке, обрастая всевозможными и даже фантастическими деталями. Вскоре о дивановских подвигах знал весь город.

Юрию Викентьевичу не дали даже съездить домой, сразу в клуб.

Народу набилось много, и Диванов чувствовал себя стесненно. В дальнем левом углу обширной залы увидел Екатерину Федоровну, махнул ей рукой, но она почему-то не ответила. Стало ещё стесненней. Чувствовал себя человеком, незаслуженно награждённым, и все об этом знают и смотрят снисходительно осуждающе.

О своем участии в событиях не говорил ничего, да и участия было — простоять вечер и полночи, взявшись за руки с такими же молекулами толпы, как и он сам. Но рассказал о митинге, об остановленных танках, о стрельбе на Садовом кольце, о гибели Комаря, Усова и Кричевского.

— Простите, я устал, — завершил, виноватясь, и заспешил к выходу. — Мы ещё встретимся.

Зато дома — никакого триумфа. Юрий и не ждал его, томился другим — допросом по задержке, и уже придумал правдоподобную лжишку, заранее краснея, но она не востребовалась.

— Не мог позвонить? — только и спросила Вика. — От чужих людей узнаю о твоих... приключениях.

Вышел не по-семилетнему серьёзный сын.

— Пап, тебя правда по телеку показывали? — и вопрос равнодушный.

— По телевизору! — повысила голос Виктория.

— Говорят...

— По телевизору, мама. А я не видел. Жаль, — и ушел в детскую.

После смерти матери в прошлом году Юрий чувствовал себя в своей родной квартире постояльцем. Всё в ней, начиная от кухни и до туалета,

было переставлено, заменено, перекрашено. Только в его кабинете, бывшем отцовском, оставались островки былого.

Обедали молча — так было Викою заведено. При жизни Анны Ивановны сын с матерью перекидывались новостями и мыслями, на что Вика осуждающе молчала и подавала голос, только чтобы осадить Викентия. Английский чопорный дом. Пуританский уклад.

За кофе не удержалась — спросила:

— Ты как попал на баррикады?

Юрий в кратких словах рассказал.

— В тебя стреляли? — сделал круглые глаза сын.

— Нет, Вик, не стреляли. На Садовом кольце была пальба, а близко от меня — нет.

Наследнику всё это неинтересно.

— Спасибо, мамочка, — поцеловал в щеку и — к себе, за книги, потом — за пианино. Вундеркинд.

«Роботёнок, а не ребёнок», — грустно подумал Диванов.

— Ты не думаешь, что творишь! — сказала Вика, едва за сыном закрылась дверь. — То, благодаря вашей милости, в доме проводят обыск, а теперь вот — под пули. Каково? А нам твоё геройство?

Никакого обыска не было, это всё бабские накрутки. Года полтора назад пришли двое вежливых до тошноты, показали ордер на обыск и предложили альтернативу: либо Диванов сдаёт НТСовскую литературу, либо кликнут понятых. Диванов молча прошёл в кабинет, покопался в бумагах для оттяжки времени и вернулся с десятком тонких брошюр, заранее приготовленных для такого случая. Так они с Эриком решили. И гэбэшники знали, что не всё сдаёт Диванов, и Диванов знал, что это знают гэбэшники, да что делать: хоть и не брежневские времена, но игры продолжаются.

А спорить бессмысленно. Против ветра плеваться. Молча выслушал. Мыслил о другом. О жене. Самое страшное — когда из грязи в князи. Сама уже святее Патриарха, осталось окружающий мир переделать. Ей бы с Горбачёвым вкупе страну перестраивать.

На счастье, зазвонил телефон. Его Вика не поменяла: старый, отцовских ещё времён. Такие аппараты входили в моду. Массивный, как кусок мрамора. Ей бы ещё двойной, начала века, видели такой в магазине «Подарки». Хоть и новодел, да очень дорог.

— Тебя, — подала трубку и не ушла — любопытного. Ещё один штришок современной светской львицы.

А на проводе Лисин.

— С приездом, Юрий Викентьевич. Завтра педсовет. Я помню, что у вас ещё три дня. Но вопрос архиважный.

И откуда все знают, что он приехал?

Диванов устало прошаркал к себе в кабинет. Прилег на диван и тут же уснул. Не слышал, как входила жена, укрывала его пледом и долго стояла рядом, скрестив руки на груди.

А школа встретила ещё триумфальнее клуба. Диванов пришел в начале одиннадцатого, к концу линейки, и, пока шагал лиственничной аллеей от проходной до учебного корпуса, пацаны аплодировали ему. Космонавт, да и только. Из первого, гагаринского, призыва. Славка Стихеев, игнорируя окрик, из строя выбежал — первым руку пожать.

— Ну... это... здоровски, — хотел сказать больше, слов не нашел и — бегом в строй.

— Лагерь, смирно! Равнение на середину! — заорудствовал Неронов. — Юрий Викентьевич! Лагерь «Романтик» в честь вашего возвращения построен.

Директор улыбался, покачиваясь с носков на пятки.

Диванов приветственно взмахнул рукой и прошмыгнул в спасительный гулкий и прохладный вестибюль школы. Он вдруг только сейчас почувствовал собственную значимость. То, что еще вчера казалось ему мелким, незначительным, недостойным серьезного внимания, вдруг оборачивалось событием эпохальным, на ход истории влиятельным. Вот что значит оказаться в нужном месте и в нужное время.

Оглядел себя с ног до головы в огромном зеркале и остался доволен: южный загар, выцветшие волосы, обветренное лицо и окрепшие плечи под светлой рубашкой. Парень хоть куда для своих неполных сорока.

Педсовет, как и ожидал Диванов, начался с него. По любому другому развитию событий, теперь, после стольких почестей и внимания, он бы, пожалуй, обиделся.

— Я думаю, — сказал директор и указал рукой

на трибунку, — Юрий Викентьевич не откажет в любезности хотя бы коротенько рассказать нам о московских событиях.

Диванов смущенно встал, в красный угол не направился и фактически повторил своё клубное повествование. Правда, теперь он поведал и о своих заслугах, но вскользь, как бы скромничая и умаляя себя.

Позже в частных беседах он расскажет, что был назначен командиром взвода, что приготовлял бутылки с бензином и желатином, которые, слава богу, не потребовались, и уже сам верил этим рассказам, но не из жажды славы, а потому, что это могло быть.

Говорил он недолго, минут десять, понимая, что это все-таки педсовет, а не встреча с ветераном, но и ощущая непривычное внимание коллег.

— Спасибо, Юрий Викентьевич, — подытожил директор. — А теперь вернемся к нашим баранам.

От баранов мысли скакнули самым естественным образом к свиньям, о которых за нагромождением событий он и думать забыл. Вопросительно глянул на Калугина, тот вроде бы понял, но пожал плечами: то ли ничего, то ли после.

А с трибуны лилось всё то же, что и год, и десять лет назад: отчёт начальника лагеря, формирование отрядов, нагрузка учителей и прочая, прочая, прочая.

И вдруг — взрыв.

— Следуя, так сказать, духу времени и идя навстречу пожеланиям трудящихся, — улыбался, будто извиняясь за дежурные фразы, Николай Иванович, — мы сегодня проведём выборы трёх моих заместителей — по режимной, воспитательной и учебной частям, — на шум поднял руку и добавил, — не за горами и мои. Голосование будет тайным. Через пятнадцать-двадцать минут вы получите бюллетени, а сейчас перерыв для скоротечной агитации и пропаганды.

Диванов оказался самым несведущим: ни расклад, ни кандидатуры не были ведомы ему.

— Тебе Коля-Ваня ничего не говорил? — удивился Неронов. — Ты в списке на зама по воспитательной. При теперешней популярности на ура проскочишь.

У Юрия Викентьевича натурально отвисла челюсть. Ну, Лисин, ну, сукин сын, не мог вчера об

этом сказать? Не нужен ему этот пост, пусть даже со сверхвысоким окладом. Не его стезя.

Подошел Эрик.

— Давай я тебе растолкую. По два претендента на должность. Конечно, те, кто в креслах — Залетаев, Ильич и Карина. И по одному страждущему — Ванька Коваль, ты и Лидия Васильевна. Она после запрета КПСС не у власти.

— У меня даже не спросили, — обиделся Диванов.

— Директор сказал, что у вас ещё в июне был разговор.

— Дела-а. Не было разговора. О выборах был, обо мне — нет. Ты накладным свинюшным ход дал?

— Поэтому и не дал — побоялся карьеру тебе попортить.

Звонок, как на урок, прервал агитационный процесс. Коллектив возбужденно возвращался на свои места.

Диванов не садился. Дождался последнего вошедшего и громко, даже излишне, сказал:

— Коллеги! Я прошу за меня не голосовать. Мою кандидатуру обсуждали с кем угодно, только не со мной. Я беру самоотвод и заявляю, что при любом исходе выборов на жёсткий стул зама по воспитательной не сяду. И хоть участие в этих выборах принимаю, но считаю их абсурдными.

Кто-то жиденько заплодировал, кто-то присвистнул. Диванов выхватил одобрительный взгляд Фёдора Ильича и растерянный Лисина — тот явно не ожидал такого оборота.

Пошла раздача отпечатанных на машинке бюллетеней. Юрий Викентьевич, ничуть не таясь, даже нарочито публично (а тайных кабин и не было) вычеркнул всех новоявленных претендентов, оставив прежних, при старом режиме назначенных.

Наспех выбрали счётную комиссию, но Диванов с Калугиным результата ожидать не стали: их пригласили на ТВ. Только на завтра Юрий Викентьевич узнал, что остались на своих местах Залетаев Олег Дмитриевич и Михайлов Фёдор Ильич, а на место завуча заступила Гаева Лидия Васильевна. Карину Ильичичну сразу после педсовета с сердечным приступом увезла скорая помощь.

2003, декабрь

После Нового года Макс решил вернуться в спешуху. Надоело ему все. Или прокатиться куда-нибудь, допустим, в Москву или Питер, других городов он не знал. Для этого нужно было денег побольше, сколько — он тоже не знал, даже примерно, но — много. Такая вот цифра вырисовывалась. Сначала прокатиться, потом в спешуху.

Декабрь стоял гнилой. Сырые ветра приносили то дождь со снегом, то наоборот. По улице много не нагуляешься: и зябко, и мокро. Особенно доставалось ногам, обутом в когда-то приличные кроссовки. Теперь они выглядели сиротливо, словно подчеркивали хозяйскую бесприютность.

Он уже успел усвоить одну немудреную истину, отчего-то недоступную многим: выиграть по-крупному практически невозможно. Макс не знал теории вероятности, но нутром своим чувствовал, что птица удачи дается одному из очень многих.

В игровые он теперь заходил только отогреться, играя помаленьку, больше толкался рядом с филиалами великого множества банков, риелторских компаний, рекламных бюро и прочих подобных фирм и фирмочек. Однажды он забрел в адвокатскую контору. Без мыслей, без надежд особых, а так, по наитию, а вдруг? Размещалась контора на втором этаже огромного торгового центра. Внизу в стеклянной будке сидел охранник в черной униформе и смотрел телевизор. На Макса он внимания не обратил, а может быть, и не заметил.

Федосеев поднялся на межэтажную лестничную площадку и остановился. Вскоре услышал, как хлопнула входная дверь, женский вопрошающий голос и звонкий стук каблучков. Он тревожно разносился по зданию. Макс дождался то ли клиента, то ли работника (властными были шаги) и отправился следом. Перед ним вышагивала дама с длинными непокрытыми волосами, на которых драгоценными камнями поблескивали две-три капельки дождя, и в распахнутой шубе. Она была родом из телевизора или журнала.

В Т-образном коридоре пустынно, словно никто и не трудится. Дама прошла в самый конец и без стука по-хозяйски вошла в кабинет.

«Работает здесь», — решил Макс и уселся на

скамейку. Ни одной мысли не было в его голове, и он не знал, зачем пришел сюда и для чего сидит на этой полированной скамье.

Вскоре из соседнего кабинета вышел пожилой мужчина с бумагами в руках, беловолосый, с белыми же усами. Он огляделся, присел рядом с Максимом и стал читать бумагу, беззвучно шевеля губами.

— Вот ведь черти, — сказал мужчина и убрал документ в папку. — А ты чего здесь?

— С мамой, — привычно ответил Макс. — Разводится.

И всхлипнул.

— Это ничего, — посочувствовал сосед по скамье. — Это бывает. Ты не переживай. Всё образуется. У меня дела похуже.

Но о делах своих рассказывать не стал, чем немало порадовал Федосеева. Распахнулась крайняя дверь, и в коридоре объявилась та же дама с маленьким, лысым и вертлявым человечком. Они прошли мимо и направились на третий этаж.

— Не переживай, — повторил старик, тяжело поднялся и направился следом за странной парой.

Максим огляделся. В коридоре было по-прежнему пусто. За множеством дверей не раздавалось ни звука: то ли стены непроницаемы, то ли нет никого. И то и другое было маловероятно. Он встал, решительно прошел к последнему кабинету, по-хозяйски толкнул дверь и вошел.

Кабинет маленький. Два стола, на одном — компьютер. Несколько стульев, высокое, с длинными узкими листьями растение в углу, в противоположном — сейф. Он не был закрыт, и ключи висели в скважине, подразнивая и маня. Все это в мгновение мелькнуло в Максовой голове, сфотографировалось и исчезло. Остался только сейф.

Уже вдалеке от торгового центра, когда дыхание и сердцебиение пришли в норму, Максим уселся на скамейку и задумался. Он еще не знал, что у него в кармане, но чувствовал — деньги. И много. Карман был приятно тяжел, но не стоило сейчас вытаскивать конверты. Хоть и пустынно вокруг, но береженого... Как там дальше?

Сидор Петрович бесспорно знал, чьих рук дело. И пусть не работало видеонаблюдение, и

пусть описание мальчишки в устах единственного свидетеля вырисовывалось расплывчатым, но Сидору Петровичу хватило рассказа о разводящихся родителях. Он даже поцокал языком в досадливом восхищении и сказал, напрямую не обращаясь к практиканту:

— Хватим мы с ним еще лиха! Сколько ему до четырнадцати? Два года? Земцова нашли? Дайте его сюда!

Зема вошел вальяжно, сел без приглашения: знал, что за ним ничего нет, на дурика привезли.

— Где Федосеев? — спросил Иванов, глядя на Руслана в упор и напряженно.

— А я почему знаю? В спецуху сами упрятали. Там и ищите.

Сидор Петрович и не рассчитывал на признательные показания, вызвал Земцова для проформы, для показного движения по делу. Но стоило и реакцию рассмотреть.

— Он тебе сказал, сколько снял из сейфа? Поди, какой мелочишкой похвастался? А там дело серьезное, лет на семь тянет, — оперуполномоченный чувствовал, что крик и оплеухи сегодня — не помощники.

— Так ему еще четырнадцати нет, — хмыкнул Зема, но насторожился и задумался. Конечно, обо всех деньгах Макс ему не сказал, он так и прикинул: баксов четыреста, но по ментовским словам выходило больше.

— Тебе-то есть.

— А я не при делах.

— Ну, как не при делах, а заведомое укрывательство? А может быть, организация кражи?

— На понт не берите, гражданин начальник! Организация! «Момент» нанюхались? — дерзил сознательно, но Иванов на провокацию не клюнул.

— Ладно, хочешь на зону — дело хозяйское, и тебе я в этом всей душой помогу, — Сидор Петрович был на пределе. — Свободен.

— Могу идти, что ли? — удивился Земцов.

— Давай двигай.

У дверей Руслан обернулся:

— И много денег Федос хапнул? Если, конечно, он.

— Порядочно. Шестьдесят тысяч.

— А чего вы так много денег назвали? — спросил практикант, едва за Земцовым закрылась дверь.

— Нормально. Он теперь к Федосееву на разборку полетит. При любом раскладе. Нутром чую, знает этот тип, где наш вьюнош скрывается. А ты вот что. Сядь этому наглецу на хвост, но тактично, осторожно, чтоб комар носа не подточил, усёк? Давай, практикуйся.

Зема сидел на скамейке в скверике перед РОВД, наблюдал за входной дверью и курил, размышляя. Как-то плохо верилось, чтобы этот малёк шестьдесят штук упёр. Такие деньги — и сейф не закрыт?! Хотя, что там? Может и быть. Ну, Федос! Даже если и не зеленые, все равно порядочно. Надо малого потрясти.

В отдел входили-выходили редко, и не было никого, кто вызвал бы подозрения.

Зема неторопко дошел до остановки, снова закурил, дождался автобуса и вскочил в него последним. Может быть, не стоило ехать к Федосу прямо сейчас, но его распирало желание хотя бы увидеть эти деньги, скорее всего — доллары, потому что он сам менял этому щеглу четыре сотни за свои две. А там все разрулится.

Тетки дома почему-то не было. Куда умелась? И во дворе не сидит. Непонятка. Заглянул в подвал. Осторожно. Двадцать раз оглянулся, прошел мимо, потом назад. Тихо. Вернулся, тыркнулся в дверь — на запоре. Стукнул условно, прислушался — тишина. Спит, что ли, паскуда? Злость перебирала Зему, и он, уже не таясь, забарабанил в дверь, а она неожиданно открылась.

В каморке был привычный порядок, но что-то настораживало. Чего-то не хватало. На месте был телевизор, маленький холодильник уробно рокотал в углу, постель заправлена. Зема так и не понял, что его обеспокоило, он и не стал напрягать не слишком мускулистую голову, а принялся лихорадочно искать. Перевернул тюфяк, прошупал вату, едва не распотрошил подушку. Телевизор, холодильник, посудный ящик — и все быстро, гневно. И не слышал, не видел, что уже приличный кусок времени дверь за его спиной раскрыта, а в её проёме, насмешливо ухмыляясь, стоял Сидор Петрович Иванов.

— Что? Не поделился корефан добычей?

Зема вздрогнул, так резко развернулся, что не удержал равновесия — упал на диван.

— Какой корефан? — закричал он. — Это тет-

кина сарайка! Я тут спрятал это, как его, ну, штуку одну...

– Штуку баксов?

И только тут Земцов понял, чего не хватало: плеера и шикарной сумки с логотипом «Айда». А их Федор никогда с собой не брал. Плеером дорожил и боялся, что местная банда отнимет, а сумку считал очень приметной. Значит, совсем ушел.

Звериное чутье опасности развилось в Максиме. Сам звонок Земы встревожил его: в любимой им мелодии Кипелова «Я свободен» слышалась несвобода. А когда Зема сказал, что вызывают в ментуру, а за ним ничего нет, каждой клеткой понял: надо уходить. Жалко было оставлять почти ухоженное гнездо, тихий, неприметный район, но что-то кричало внутри: уходи! Зема его не сдаст, это точно, до той поры не сдаст, пока самого за задницу не возьмут. Свою шкуру он легко чужой прикроет, а пока у Макса деньги, и Земе ничто не грозит — не сдаст.

Максим отключил мобильник, бросил в сумку плеер, диски, новое, вчера только купленное белье, гвоздем задвинул внутренний шпингалет и с глубоким вздохом распрощался с очередным домом.

На этот раз он знал, куда идти. Еще дней десять назад сошелся Максим Федосеев с двумя непривычными бичами. Тогда вышел он из игрового зала на Интербульваре.

– Молодой человек, — услышал он позади себя. — Помогите, пожалуйста.

Макс оглянулся: к нему обращался мужчина неопределенных лет, с давно неммытыми и нечесаными волосами и такой же, но с седыми прядями, бородой. За ним на снежном бруствере сидел другой — совершенно бичевского вида и на первый взгляд очень больной.

– Чем помочь-то? — Макс был ошарашен.

– Одолжите десять рублей, человеку, вон, совсем плохо, помереть может, мы вам вернем, завтра же или сегодня вечером...

Максим, когда при деньгах и в хорошем настроении, мог быть нескупым. Подавал просящим старушкам, делал подарки друзьям, а вот бичей не любил. И не делился с ними тяжким трудом заработанными деньгами. Но этот был какой-то не такой. Прикид, конечно, древний, но чистый,

говорит, как учитель. Но не это главное — глаза. Как у Христа на иконе. Насквозь смотрят, но с печалью какой-то.

– Опохмелиться? — по инерции иронически спросил Макс. И тут же осекся — печаль светилась в глазах.

– Вы не поймете, ему нужно немного спиртного, граммов пятьдесят.

Максим подошел к сидевшему. Тот держался правой рукой за сердце и тихо постанывал.

– Возьмите, — державной рукой Максим протянул горсть пятирублевых монет и, вскинув голову, направился дальше.

– Молодой человек, подождите, где вас найти?

– Зачем?

– Вы побудьте, пожалуйста, рядом. Я быстро сбегая.

– Ладно, я не тороплюсь.

Максим присел рядом на снежный бруствер и с любопытством разглядывал болезного. Тот постанывал и растирал грудь.

– Может, «скорую» вызвать?

– М-м-м... Не надо... пройдет, — перестанывая, ответил бич.

Очень быстро вернулся второй. Или первый? В руке у него был неясный флакончик.

– Что это? — наивно спросил Макс.

– Настойка боярышника. Лекарство такое. На, Вася, глотни, полегчает.

Вася сделал три осторожных глотка и вернул флакон.

– Теперь тебе полежать надо. Молодой человек, вы не можете? Это рядом, вон тот подъезд.

Бичи жили совсем не в подвале и не на чердаке, а во вполне чистой однокомнатной квартире. Правда, без мебели, но у большого, в полстены, окна стояла раскладушка. На неё Васю и уложили. Он, прежде чем лечь, сделал ещё пару глотков. Лежал настороженно, прислушивался к себе, а через минуту-другую слабо улыбнулся и тихо сказал:

– Кажется, полегчало.

Максим прошёл на кухню и бесцеремонно оглядел пустоту: ничего съестного не наблюдалось.

– Я сейчас, — крикнул из прихожей.

Вернулся с десятком яиц, колбасой и хлебом.

Нашлась сковородка, лет сто не мытая.

За обедом Макс узнал, что хозяина квартиры зовут Иван Ивановичем, что раньше он работал

инженером на химическом заводе и уже лет десять нигде не работает. А Вася — зэк. Политический. В общей сложности отсидел лет двадцать. Мог бы и пенсию получать как незаконно репрессированный, но — гордый, сам не пойдёт хлопотать.

— А вы, молодой человек, кто?

— Я — вор, — хотелось сказать гордо, но получилось не очень.

— А живёте где?

— Жил в спецухе, сбежал, сейчас нигде.

— Можете у нас пожить пока.

Федосеев плечами пожал.

— Участковый к вам часто в гости ходит?

— Вообще не ходит. Я и не видел его ни разу.

Мы люди тихие. Так что можете пользоваться, — и развёл руками, приглашая.

— Спасибо. Подумаю, — ответил, не думая, что совсем скоро воспользуется предложением.

Так Макс обрёл новое пристанище, о котором не знал никто: ни в школе, ни менты, ни Зема.

2003, декабрь

Выпросил Диванов отпуск за счёт летнего на две недели для поездки на Рождественские каникулы в Финляндию. Как это случилось, что он, на дух не перенося коварный зарубеж, вдруг поддался Викиным уговорам и решился ехать? Он дважды бывал в Финляндии ещё во время оно, в конце перестройки, и вывез оттуда совсем неблагоприятные впечатления. Намылившее глаз однообразие раздражало его своей музейной глянцевицей: белые дома — коричневые наличники, коричневые дома — белые наличники. И люди: ни выпить, ни поговорить. Юрий Викентьевич не знал финского, но почти все встречающе-сопровождающие владели английским, и складывалась парадоксальная ситуация: финны и русские общались на английском, а на нём что? — никакой глубины, безэмоциональная передача информации, да и только.

Но чем ближе подлетало двадцать четвёртое декабря, тем угрюмее становился Диванов. Уже нельзя было дать задний ход, там всё готово к встрече на высшем уровне, готовы визы-паспорта, взяты билеты, но и ехать было нельзя: он там всё и всем испортит. Да и какое Рождество двад-

цать пятого декабря? Апогей Филиппьевского поста! Правда, пост блюл Юрий Викентьевич не очень строго, а уж в новый Новый год — последняя строгая неделя — и вовсе скромничал, ругая отцов Церкви за их допотопный календарь.

И он искал причины не ехать, но были они неубедительны.

— Не вздумай передумать, — угадывала его мысли Виктория. — Развеешься, отвлечёшься от гнусностей.

И Диванов решил заболеть. Более веской причины не бывает. Накапал йоду на сахар, выпил четыре чашки крепчайшего кофе и вызвал врача.

Участковая перепугалась: давление 170/100, температура под 39.

— Госпитализировать! — сказала она решительно.

— Да как же так? — слабым голосом простонал Диванов. — А Финляндия?

— А что случится с вами в дороге? — парировала доктор. — Вы знаете, сколько стоит лечение там? наших зарплат не хватит.

Сопrotивлялся Юрий Викентьевич недолго, а вскоре пришла перевозка. Гипертонический криз.

Не предполагал Диванов, что такое количество людей будет озабочено его здоровьем. За три дня в грустной палате № 6 (это ж надо!) перебивало полшколы и несчитанное число друзей из прежней жизни. Вика забегала каждый день на пять минут, а в последний забег нерадостно сообщила, что билет его сдала. И обрадовала:

— Ничего, в следующий раз вместе поедем. Это уж непременно.

— Ну, конечно, — согласился Юрий и деланно вздохнул. Теперь можно было думать о выписке — не встречать же Новый год в больнице.

Пришли Неронов с Брыкиным. Удивительная пара — никогда вместе не были, и укол ревности в больное сердце.

— Я не столько навестить, сколько попрощаться, — утешил Владимир Николаевич. — Вот Ростислав Семёнович к себе пристроил...

А работал Славянин в какой-то крутой фирме замом по снабжению. При его коммуникабельности — по нему работа.

— Значит, укатили Сивку лихие Лисы? И что же ты, без боя?

— А что мне оставалось? Ждать, когда он профнепригодность вмантулит? Очень Коле-Ване нужно было Ковалю на моё место воткнуть. Щиток от прокуратуры.

Они стояли на прокуренной площадке чёрного хода, попивали водку, принесённую Славкой, закусывали сигаретами и материли Лисина, Залетаева, министра и всю российскую демократию.

Демократию доматерить не успели: вошёл Кожевников.

— Я думал, он при смерти, — пробасил Анатолий Захарович, — но мёртвые водку не пьют.

Достал мерзавчик коньяку.

— Вот, взял за упокой, — вздохнул, — а придёт за здоровье.

— От твоего юмора и до упокоя недалеко, — но улыбнулся Диванов и представил своих коллег. Бывших.

Не Сталин у больного Горького, а гольная пьянка. Так и из больницы попрут, а надо бы ещё пару деньков покосить.

— Эрик пишет? — спросил Кожевников.

— Редко. Разошлись мы с ним во взглядах на современную всемирную историю. Он до сих пор сожалеет, что процесс распада Российской империи остановился. По нему, он должен был закончиться на уровне Московского княжества, даже не Великого. А вот американские имперские закидоны его почему-то не раздражают.

— Ну, ты у нас известный империалист. Тихо, тихо, шучу. Мне тоже не пишет. Да и о чём? Всё, что было, — перевёрнутая страница. Поправляйся, мне бежать надо. К лекциям поправишься? Давай не хандри и не подводи.

Убежал, а присутствие какое-то время оставалось, разговор сковывало, но Славянин ещё плеснул — отпустило.

Брыкин опять вернулся к делам школьным. Рассказывал весело. Телефонного террориста Марата Чернова присудили к полутора годам условно, а новый-старый директор его не уволил, только перевёл из учителей в рабочие. Уропаев в мастерских свежую аферу затеял. Теперь там оконные и дверные блоки выпускают. Идут, как горячие пирожки.

— Пацаны там при делах? — равнодушно спросил Юрий Викентьевич. Как-то до луны ему стала вся аферная возня.

— Бригаду из воспитанников организовали. Шесть человек. Подай — принеси. Остальные — только по расписанию, на уроках труда. Да! Алексаша в школу вернулся! Теплицу собирается восстанавливать...

— Бросьте вы ля-ля за школу, — раздражился Неронов. — Поговорить не о чем?

Бросили охотно, а поговорить...

— Может, ещё за мальком сгонять? — предложил Славянин.

— Я — пас, — приуныл Диванов.

На том и разошлись.

Назавтра посещение оказалось куда как приятнее — Екатерина Фёдоровна. Приятным и неожиданным. Неприбранно-небритым лежал Юрий Викентьевич на койке с книжкой Николая Модестова «Москва бандитская», а тут — явление.

Оба смушались.

Екатерина Фёдоровна оправилась первой.

— Это вам. Апельсины и лимоны. Скорая помощь от всех болезней. Как вы себя чувствуете? Честно, вы нас всех напугали.

— И не надейтесь. На поминках моих гулять не завтра. И даже не в обозримом будущем, — Диванов расчухался и разбёрничался.

— Вы, Катенька, импозантно выглядите, — на ней был пятой свежести когда-то белый халат, зато свежайшие одноразовые бахилы.

— И вы, Юрочка, не жених, — засмеялась мелко и дробно.

Странные у них складывались отношения: то запросто на ты, то чопорное вы, а то нечто среднее, вроде теперешнего.

Они прошли в холл, уселись в полукресла и замолчали — искали тему: не говорить же о погоде.

— Я очень рад, что ты пришла, — на «ты» Диванов споткнулся и посмотрел выразительно.

Екатерина Фёдоровна бровью не повела.

— Что в нашей альма-матер новенького?

— О, перемены несусветные! Состав меняется — не успеваем знакомиться. Новый зам по режиму. Александр Григорьевич Мальцев, наш зелёщик, вернулся и теперь ведёт себя как незаконно репрессированный.

— Я слышал, тебе место завуча предлагают?

— Слухи, Юрочка, — и положила руку ему на плечо. — Слухи, а какая компания против меня образовалась! И Мариша первая.

— Я её понимаю, — вскользь заметил Юрий Викентьевич. — Вид агрессивной обороны.

А сам притче о слухах ни на йоту не поверил. Наоборот — уверился. И подумал: не из чистого сострадания посетила она болезного, было ещё что-то, не до конца ясное.

— Ты как Новый год встречаешь? — тему нужно было менять кардинально, иначе ненужная острота могла возникнуть. — Может быть, вместе?

— Да как же это? — удивилась, даже руками всплеснула. — А семья, то есть жена?

Диванов сморщился — не любил обсуждать дела внутренние на публике, пусть даже сверхсимпатичной.

— Виктория на Рождество в Финляндию уезжает, — отчего-то не смог назвать женой, показалось, что по имени — отстранённое.

Замялась Екатерина Фёдоровна, искала ответ, видимо, пообтекаемое, не нашла.

— А вас... тебя выпишут?

Не стал Юрий Викентьевич углубляться в историю болезни.

— Ради нашей встречи сбегу из-под любых замков, сквозь самые неприступные стены!

— Мне так неловко, — решила напрямую, — но у нас традиционная новогодняя компашка.

«А мне в этом калашном ряду, — подумал весело, — и на задворках места нет. Много званных, да мало призванных».

— Да ладно, не переживай.

— Может быть, после Нового? Числа второго?

— Сложно спланировать, — отключился от темы Диванов. — Созвонимся.

Поболтали ещё минут десять ни о чём и разбежались, оба с осадком неудовлетворённости собой и собеседником.

Тут же прибежала Вика. Занятая, деловая, мимолётная. Наверняка столкнулась с Катериной нос к носу где-нибудь на выходе. Пронесёт Всевышний — друг друга не знают.

«Прости, Господи, прегрешения наши», — помолился неискренне и во множественном числе.

Принимал жену, лёжа в постели и постанывая, но Виктория на стенания супруга — ноль. Минуту назад разговаривала с лечащим врачом, тот уверил, что ничего серьёзного в состоянии Юрия Викентьевича нет, ещё немного понаблюдают и к Новому году выпишут.

— Билет твой я сдала, ёлочку поставила, подарок под ёлочкой. Продукты сам купишь — испортятся, не сможешь — в холодильнике есть кое-что и бутылка шампанского. Крепче тебе нельзя.

Диванов сквозь нарастающее раздражение слушал эту бестолковую скороговорку: ни намёка на сожаление, ни какого-нибудь: а я тоже не поеду. Не было ничего и уже не будет.

А тут — явление пятое. Те же и Нарыльский. Вот кого ни сном ни чохом.

— Мой воспитанник, — гордясь, представил жене. — Александр. Никак твоего отчества не выучу.

А воспитанник был отчества достоин: длинное нараспашку пальто, белое кашне, туфли зеркального блеска. Никаких халатов и бахил. Шикарный букет цветов Диванов тут же передал Виктории, заотказывался от огромного пакета продуктов, но Саша настоял:

— С соседями поделитесь. Впрочем, завтра у вас их не будет, в VIP-палате будете долечиваться. Никаких возражений. Всё договорено и оплачено.

Вика, секунду назад собиравшаяся уйти, замерла и с неприкрытым любопытством разглядывала воспитанника-нুবориша.

— Пойдём, Санчо, покурим. Мы с женой уже все проблемы разгребли, — и к Виктории:

— Ты ещё зайдёшь ко мне до отъезда? Нет? Ну, тогда счастливой дороги. Приветы сыну и невестке.

Так и разошлись, неудовлетворённые.

На лестничной площадке людно, накурено и грязно.

— Давайте спустимся, в машине посидим: тепло и комфортно.

Не просто комфортно и тепло — шикарно. Вентиляция, холодильник, телевизор, правда, размером чуть больше ладони, и кресла — жить в них хочется.

— Коньячку? — предложил Нарыльский.

Диванов зажмурился и кивнул головой. Он чувствовал себя нищим на великосветском приёме, но ничего поделать не мог: отказ тоже выглядел бы нелепо.

— А как же твоя воровская концепция? — давно хотел спросить, а сейчас уместно — как укол.

— Времена изменились, Юрий Викентьевич, —

не укололся Саша. — И мы с вами — тоже. Хотя вы — не очень.

Хорошо в машине: кресло комфортное, вентиляция почти нежная, коньяк отменный, музыка негромкая — здесь бы и жил. Да не по Юрке авто.

А Сашка чувствует, но не наслаждается, не упивается победой над своим минувшей эпохи наставником и, даже больше, предлагает:

— Хотите прокатиться? Зачем пассажиром? За рулём! — звучала-таки нотка барского самодовольства. — Мы тут недавно с Федосом вспоминали, как на вашем «запоре» катались.

Давние времена. Сколько? Лет двадцать прошло? Наградили их отряд неделей отдыха на школьной базе отдыха. Ну, это кому отдыха, а кому и каторги. На пять килограммов похудел Юрий Викентьевич за эти семь дней. Один в лес сорвался якобы по грибы, двое в деревню проверить крестьян на прочность... И тогда устроил Диванов курсы подготовки водителей на своём «Запорожце». Ещё те были курсы! Три дня после них машину ремонтировал.

Загнул, пожалуй: ремонтировал. Сам он только свечи заменить да колёса подкачать. На большее ни сил, ни талантов. Лёшка Гонщик устроил тогда ему ремонт по высшему разряду.

— Ты с Петром встречаешься? — удивлённо ушёл от разговора о машине. — Вот бы не подумал!

— Он ко мне как-то явился не запыхавшись работу искать, чтоб не напрягаясь и денежную, а я сам такую ищу, в смысле, чтоб не напрягаясь. Ну что, за руль?

— Спасибо, Саша, но я уже не помню, сколько лет за рулём не сидел. Моя ласточка помаленьку догнивает в гараже, а купить себе другую нет ни денег, ни желания. А как ты узнал, что я в больнице? — осенило.

— Сорока на хвосте принесла, — напомнил пеньковскую присказку. — В школу заходил, там — паника, говорят, «скорая», говорят, едва живой...

Вздыхнул Диванов облегчённо: не верил он в такие бескорыстные, через тыщу лет визиты. А впрочем, что с него иметь?

Лёжа на уже обрыдшей койке, вспоминал Диванов двухдневные визиты и никак не мог понять своего отношения к ним: с одной стороны,

они тешили и радовали, с другой — как бы итог жизни подводили. Вот Толька зачем приходил? Просто поведать? Убедиться, что я лекции смогу прочесть? Или с надеждой, что читать не буду? А Катька? Поведать бывшего любовника? Найти союзника в жестокой борьбе за место завуча? Лидке это Каринина смерть аукнется, жалко, но понятно, а что потом Катьке аукнется?

Не выстраивалась система. Всё неясно. С этим и уснул.

1984, февраль

Саша Нарыльский никогда не нарушал школьного распорядка дня. В его карточке поощрений и взысканий на обратной стороне не было ни одной записи. Брюки всегда отутюжены, рубашка свежая, ботинки начищены, и лицо источало бодрость и добrorасположенность. Далеко не всякий мог догадаться, что за внешне благолепным фасадом могло скрываться нечто, не всегда приятное. Наоборот, первое лестное впечатление со временем только усиливалось.

— За что этот образец для подражания попал сюда? — спрашивали некоторые, поверхностно знакомые со спецификой специальной школы для трудновоспитуемых детей.

Юрий Викентьевич и теперь, и много позже размышлял, как получилось, что не обладавший сколько-нибудь заметной физической силой Саша сумел подчинить себе не только отряд и коллектив, но и всю школу. Размышлял и размыслить не мог.

И Диванов, и Федор Ильич, и сама Светлана Андреевна многожды предлагали Нарыльскому высокую должность командира любого ранга — от отряда до школы, но Саша вежливо и твердо отклонял сии лестные предложения.

Однажды в припадке редкого для него откровения он сказал Юрию Викентьевичу:

— Мне нельзя быть в активе, запахло это, — но, увидев удивленно полезшие вверх брови воспитателя, понял, что наговорил лишнего, и замолчал.

Юрий Викентьевич попытался было развить тему, но не преуспел и оставил, а может быть, напрасно: до любого сердца можно достучаться, но не у всякого терпения и такта достанет. Мно-

го позже он узнал, что скрывалось за словами воспитанника.

Однажды, когда он был уже пионерским вожаком, МВД организовало профилактически-устрашающую экскурсию в СИЗО, именуемый в народе вызывающим оторопь словом «тюрьма». Собрали десяток самых расхристанных, провели по камерам, заглянули на прогулочный дворик, с кем-то из заключенных малолеток поговорили, но эффект получился обратный: милые ребятки готовили себя к этой жизни. И вспомнил тогда Диванов Сашу Нарыльского. Быть в активе запахло. Сашок уже в школе делал себе эковскую биографию, лепил из себя вора в законе.

В другой раз представился еще один случай, впрочем, такой же безуспешный. Эмма Рудольфовна Дудкевич пригласила его в класс.

— Почитайте, Юрий Викентьевич, что ваш ангелочек наизрекал, — и протянула тетрадь для сочинений.

Тема была тривиальной — «Кем я хочу стать», и Диванов передернул плечами: и он писал такое же лет двадцать назад.

«В нашем городе, — размышлял Нарыльский (он был из Кирова), — все живут плохо, кроме некоторых, которые воруют, а сами говорят, что они честные, и на собраниях выступают. Когда я вырасту, я тоже буду воровом, но не как эти наши начальники, а настоящим, но воровать буду только у тех, которые врут и сами воруют. Я буду законным воровом».

— Удивительно, — сказал Диванов. — Ни одной ошибки. Даже пунктуационной. Или я ошибаюсь?

— Вы не понимаете! — воскликнула Эмма Рудольфовна. — Это же чистейшая антисоветчина!

— С чего вы взяли? Мальчик, может быть, впервые в жизни написал, что думал, а вы ему сразу антисоветскую агитацию и пропаганду вменяете, — Юрий Викентьевич явно иронизировал. — Робин Гуд! Чего же боле?

— Какой Робин! Нас с вами за этого Робина с работы повыгоняют! И это в лучшем случае!

— А меня-то за что? — простодушно изумился Юрий Викентьевич. — Я ему подобных мыслей не внушал.

— И спрашивать не будут, кто внушил: папа с мамой или мы с вами. Всем по серьгам раздадут.

— И что вы предлагаете?

— Заставить его на самоподготовке сочинение переписать.

— А вы?

— Мне сказал, что не будет. Он, видите ли, так думает! Только вы, ради всего святого, — никому. Только мы с вами, а? — и Дудкевич просительно заглянула ему в глаза.

— Попробую, — неуверенно протянул Юрий Викентьевич и взял тетрадь. — И кем же ему стать? Космонавтом?

— Вам все шуточки!

Шуточки-прибауточки. Хоть и закончилась эпоха Андропова (ха — эпоха!), но и ему понятно было, что черненковская будет хуже (оставалась надежда — на столь же «продолжительный» срок). Могло и аукнуться в каком-то боку. Однажды с ним уже приключился анекдот. В миг отсутствия дел и мыслей решил он сходить в кинотеатр. «Сибириада» шла. Всех фильмов и не упомнишь, а тот запомнился. Кино Диванов смотрел редко, когда не смотреть становилось неприлично, предпочитая всем видам лицедейства театр, а в нем — оперу. Перед сеансом шел обязательный киножурнал «Новости дня», по окончании которого вдруг зажегся свет и в двух проходах зрительного зала появились стражи порядка.

— Проверка документов, — громогласно объявил капитан.

Позже Диванов узнал — выявлялись лица, самовольно и злостно оставившие производство. Рейды сии свершались уже с месяц, но Юрий Викентьевич услышал о них впервые дня за два до культурного мероприятия и не поверил: ну не совсем же рабская страна! А тут — вот тебе, народ честной, и Юрьев день!

— Нет документика? Где работаете? А... В спецшколе... Кто у вас командует? Личанская? Светлана Андреевна?

Диванова оставили, а человек пять-шесть вывели.

Самоподготовка. Не любил ее Диванов. Каждый учитель считает, что его предмет — наиглавнейший, и задает материала невпроворот. Раскрыл тетрадь заданий. Так и есть. Математика — не считано, русский — не мерено, английский — чтение и перевод и две главы географии. Сами,

товарищи учителя, за два часа такой объем осилите? Расписал все на доске, обсыпая себя, как всегда, мелом, и подозвал Нарыльского.

— А тебе, Санчо, спецзадание, — сказал шепотом, чтобы остальные не слышали. — Напиши для меня лично сочиненьице на страничку-полторы. Тема... А впрочем, выбери тему сам. Писать тебе не первое и не последнее. Как хочешь крутись, но чтоб четыре балла. Иначе — три за четверть.

Учился Нарыльский вполне прилично и не напрягаясь. Дано было ему. Причем одинаково легко давались как точные, так и гуманитарные науки. А вот работу в мастерских не любил, на личном счёте имел денег менее всех и нисколько по сему поводу не огорчался.

— Что? — спросил Саша ехидно. — Не понравилось Дудке мое сочинение? Ей хотелось бы, чтобы я милиционером стать стремился?

— Дерзок ты стал в последнее время, — заметил Диванов, — а это нехорошо. Близость выпуска почувял?

— Ладно, напишу, — опустил голову. — Только из-за вас.

В аудиторию заглянул Эрик Матфеевич.

— Все в порядке? Показалось, шумно.

Бдит, хоть время у него нехлопотное: на самоподготовке пять отрядов, и все находятся на одном этаже. Казусы случаются редко. Надоело, пожалуй, скучать одному в коридоре, решил поскучать вдвоем.

— Подожди секунду, сейчас выйду.

Неплохо бы покурить, но оставить отряд без присмотра — себе дороже. Надёжи никакой. Санчо дисциплину удержит, но за ним самим сейчас присмотр нужен.

— Леха, — наказал Юрий Викентьевич Дураеву, — будь любезен, сделай математику сам. Хоть сколько-нибудь, да сам. Иначе схлопочешь неприличную оценку за четверть.

До весенних каникул еще месяц, а Диванов уже итоги подводит — что-то осталось от заучевской закваски постстуденческих времен.

Еще два-три наказа, и вышел в коридор, но остался у дверей, сквозь стекла поглядывая на отряд.

— Как у тебя Фофан, в норме? — спросил Калугин. — Он собирался Геру убить. Сам слышал. Ну, убить — не убить, а драку учинить станется.

— Спокойно пока, — но тревожно глянул в класс. — С чего сыр-бор, не знаешь, дознания не провел?

— Да вроде бы вчера в мастерских этот дебил с десяток корпусов из титовского ящика прихватил, Гера видел, сразу в позицию номер два, Фофан — с кулаками, Титов — за штырь, но там драку пресекли. И всё это без мастеров. А ты не слышал? Шумно было.

— Я отдыхал вчера. Разберусь.

Возможно, излишне самоуверенным стал Диванов, может быть, рано почувствовал, что отряд у него (с Бодаевой, с Ириной, конечно!) слепплен и подчинен по-хитрому: не окриком, не в лоб, а так, на доверии. Якобы. Может быть, закуражился, поймал жар-птицу за перо? Надо смотреть-проверять. Благодушные не всегда уместно.

— Представляешь, что Нарыльский в сочинении нарыл, — по-страусиному ушел от проблемы к другой Диванов. — Твой студенческо-диссидентский мятеж отдыхает. Прямо прокламация о мздоимстве и казнокрадстве чиновников всех рангов.

Отмашка на его диссидентство Калугину не понравилась, но вида не показал, держал марку.

— Дай почитать, — усмешка таки получилась со злостью. — Может, научусь чему? Устами младенца.

Это было в привычке Эрика Матфеевича — недоговаривать. Уважал таким способом собеседника.

— Сей же час и принесу. Только почитай в одиночестве, я изображу бурную деятельность.

Деятельность заключалась в проверке уроков. У Нарыльского и Титова проверять ничего не надо — все сами сделают, у Фофанова — бесполезно, списал бы без ошибок, у Лешки Дураева — математику, у остальных — все.

Юрий Викентьевич, в отличие от многих воспитателей, урока не вел, полагая, что не резон вмешиваться в процесс обучения, ибо сколько учителей, столько и методик. Проверить, подтолкнуть, помочь в непростом вопросе — другое дело. Как сделал бы радеющий отец.

Пробежал, посмотрел, указал. Можно вернуться к приятелю.

— Все, что написал юноша радикальных взглядов, звучит на каждой кухне, — саркастически бросил Калугин, — а вот то, что он осмелился, —

это симптом. Если люмпены требуют перемен — государство созрело.

— Вывод, вывод-то какой! — не унимался Диванов. — Воровство — не просто профессия, а прямо-таки добродетель. Воры всех стран — соединяйтесь! Какой-то воровской социализм.

— Ничем не хуже нашего, — поддакнул Эрик Матфеевич, — человеколюбивого и развитого. Во всяком случае, без прикрытия фиговым листком безудержного вранья, называемого идеологией.

Диванов прихмурился — не любил он энергичного нигилизма.

— Меня другое поразило, что, кстати, взбесило Эммочку, — сказал он, — мысль о том, что все эти спецухи не исправляют, а, наоборот, делают человека хуже, развращеннее. Они только изолируют.

— Наверяд ли он читал «Записки из Мертвого дома», а тема оттуда. Я на зоне часто задумывался о перевоспитании и перековке. Ничего этого и в помине нет. Мне повезло, меня окружали уважаемые мной люди, мыслящие и образованные, и это от них истекали перевоспитание и перековка, но совсем в ином плане, чем рассчитывали авторы проекта. Это неумному коммунисту пришлось в голову содержать политэков отдельно от уголовников, хотя в нашей серпасто-молоткастой политических нет. Девяносто процентов приходило к нам на зону так называемых ревизионистов. Они, как и я, свято верили в коммунизм и только считали методы его построения (он искал слово) никудашными. А выходили они убежденными антикоммунистами. Ты не читал «Архипелаг ГУЛАГ»? Хотя, конечно же, откуда. Ну, «Ивана Денисовича»? Там нравственное развращение хорошо подмечено.

Диванову разговор не нравился, излишне острый характер проявился в нем, а он не любил пикантной полемики о вещах, в которых не был хорошо подкован или хотя бы достаточно информирован.

— Договорим потом, — сказал как бы с сожалением. — Надо мне с Фофаном разобраться. Может быть, встретимся завтра? У меня только подъем.

— Договорились.

Юрий Викентьевич опять забыл, как зовут Фофанова. Не обращаться же к нему — Фофан. Обращался к Титову.

— Что у тебя за история с корпусами?

— Да мы уже с Фофаном разобрались.

— Это с кем? Не знаю такого!

— Ну, с Серегой.

Точно — Сергей. Имя простое, а запомнить никак не может. В чем причина? Надо записать.

Внешне он заметен: лицо круглое, упитан, прилично сложен, но пустейшие глаза и постоянная неумная улыбка делали его похожим на человека умелого из учебника истории.

— А ты, Сережа, что скажешь?

Фофанов вздрогнул: не часто его по имени окликали.

— Ничего.

— Вот и славненько. Только если ты кого-нибудь опять убивать надумаешь, предупреди — буду деньги на похороны копить. На твои.

Сказал и устыдился — шутка получилась отвратительной, но тут же оправдал себя: отряд захотел, Фофанов водил пальцем по столу, ситуация остывала. Может быть, так и надо?

Но ни увещевания, ни мрачный юмор не помогли: драка (слава всевышнему, не до смертоубийства) состоялась.

На другой день, хоть и опаздывал по обыкновению на подъем, остановился Юрий Викентьевич на проходной, по лицу Калугина поняв, что ждет его неприятное известие.

— Галина Павловна, — с нижайшим поклоном попросил он, — шугните, пожалуйста, моих. Мне двумя словами с Эриком Матфеевичем перекинуться нужно.

Галина Павловна на ласку отзвывчива.

— Читай, — сказал Калугин и протянул три листка из ученической тетради. — Фофанов, Титов и Железняк объясняются. Хотя нет, Железняк — докладывает.

Фофановская объяснительная — тот еще документ.

*Директору спецшколы №88
Лечанской Светланы Андревны
От воспитаника 7 Фофанова С.
Объяснительная*

Я с титовым падралси патамушта он сказал крыса а я не крысил сначала он миня стукнул потом я потом пришил рижымник Жилизняк.

— Недурно, — заметил Юрий Викентьевич. — Свою фамилию написал без ошибок и с прописной буквы — знает свое место.

Объяснение Геры было пограмотней (хоть и не без ошибок), но вариативностью не отличалось.

— Что делать будем? — спросил Эрик Матфеевич. — Стас просил по возможности делу хода не давать — ему лишнее взыскание ни к чему.

— Тебе решать. А я Железняк перед отбоем предупредил, что конфликт назревает. Где он сам-то был?

— Говорит, спустился в медчасть за таблеткой, но я думаю, в карты дулся в воспитательской.

— Решай сам, Эрик. Бумажки у тебя, мне ты ничего не говорил, если прикрыть хочешь, но если позже выплывет — хуже будет. Ты горячо любимую Личанскую знаешь.

— Стас заверил — не просочится. Он тебя, кстати, ждет на коллективе. Все боится чего-то. Тебя подождать? — переключился Калугин. — Не передумал?

— Сдам детишек, и в вашем полнейшем распоряжении.

Детишки уже руками машут — изображают физзарядку.

— Опаздываете, Юрий Викентьевич, — сделал замечание вечно веселый Лешка Дураев.

— Начальство задерживается, — строго поправила Галина Павловна.

— Я вас жду, — почему-то на «вы» обратился Стас. — На пару минут.

Они прошли в умывалку.

— Ну, рассказывай, да побыстрее — мне еще побриться до прихода шефши.

— Да чо говорить? Поднимаюсь из медчасти, а тут драка...

— Мне-то туфту про санчасть не гони. И ты меня знаешь: если пацаны не проколются, мне тоже лишняя головная боль ни к чему. Дознание провел? Что там было сверх писулек?

— Драчка как драчка. Один на один. Только вот что удивительно: Гера Фофану утюгов накидал.

— Не может быть, — протянул Диванов.

— Я и сам бы не поверил, но у Фофана — блямш под глазом.

— А его на что спишем?

— Уже списали на тренировку. Боксеры хреновы. Ты уж волну не гони, у меня еще старый выговорщик не снят.

— Будь спокоен. С моей стороны — полный штиль.

Не любил себя такого Диванов, но как-то само собой получалось, что язык его менялся от обстановки: с воспитателями на одном, с режимниками — на другом, с детьми на третьем, с руководством — еще. Вот Эрик со всеми на одном. Интересно, он с женой так же разговаривает? Попытался представить, но получилось нечто комическое, вроде «сударыня, я вас ангажирую на эту ночь», а в постели и вовсе не смог представить и рассмеялся.

Разбирать ночное происшествие Юрий Викентьевич не стал. Не было ничего, значит, не было. Осмотрел критически дуэлянтов, хмыкнул, давая понять, что все тайное становится явным, и подозвал Нарыльского.

— Я ничего не знаю, — наивно обозначил себя Санчо.

— Ты о чем? — удивился воспитатель.

— Я думал, — растерялся Нарыльский, поняв, что попал впросак, — ну, я подумал...

— Молодец! Уважаю думающих людей. Как сочинение?

— Написал, — улыбка вышла самодовольной. — Все, как учили. Будете проверять?

— Не проверять, а читать. В прежнем у тебя интересные мысли были. Я их не разделяю или, скажем так, не до конца разделяю, но они выдают в тебе человека мыслящего, а это не так уж и мало.

Юрий Викентьевич после нескольких лет проб и ошибок усвоил для себя немудреную истину: пусть этот малолетний преступник и бродяжка накормлен от пуза и вкусно, пусть содержится если и не в холе, то в чистоте, пусть одет по всем нормам советского школьника, ему всегда будет не доставать простого человеческого отношения к себе. Вот этого простого и человеческого в школе как раз и не было, а был обезличенный воруага, бродяга, жертва неудачного аборта. Общежитие всегда обезличивает, будь то армия, тюрьма, монастырь или вот эта спецуха. Нет ничего хуже единой формы одежды и строя. Впрочем, есть — единая форма души. Ранжир — беда всякого общества.

Сочинение было безвкусным. Дудкевич оно понравится. Еще один способ обезличивания и,

пожалуй, ужаснейший — научить (скорее — заставить) мыслить стандартно.

— Добротное, — заметил Диванов, — валяй в том же духе. В твои года не должно сметь своё суждение иметь.

В гости к Калугину Диванов попал впервые и был польщен: не многие удостаивались подобной чести. Хлебосольным и радушным Эрика Матфеевича не назовешь, а квартира для дежурного по режиму — роскошная. Три комнаты на четвертом этаже шестнадцатипятиэтажного дома в спальном районе с окнами с одной стороны на сосновый бор, с другой, впрочем, с другой вид открывался обыкновенный. А главное — кооперативная. Юрия Викентьевича все подмывало спросить, откуда у шкрабов (так называли в двадцатые годы школьных работников, а жена Калугина преподавала русский язык в каком-то колледже) заводятся такие деньги на эдакую мечту советского обывателя, но не решался.

— Ты, наверное, думаешь, где я такие деньги нажил? — пришел на помощь хозяин и развел руками. — Это все, сударь, на чаевые. Я четыре года официантом в приличном ресторане отработал.

Диванов этого не знал и удивился. Как-то трудно для него сочетались академическое диссидентство и служба человеком.

Они прошли в кухню. В одной из комнат стояли не очень уверенные скрипичные гаммы.

— Дочка, — пояснил Эрик. — Во вторую смену учится.

— Я думаю, достается ей: школа, скрипка, английский, фигурное катание — угадал?

— Почти. Позавтракаешь со мной.

Диванов не понял, это был вопрос или приказ.

— Позавтракаю, если не разорю. Правда, меня сегодня угостили молочной пшенной кашей...

— Не разоришь, — усмехнулся Эрик и полез в холодильник.

Гаммы затихли, и через минуту раздался стук в дверь.

— Можно, папа? — в проеме показалась маленькая девчушка лет десяти.

— Ой! — прикрыла ладошкой рот. — Вы не один. Я к вам позже зайду.

«Вот это номера!» — подумал Диванов, но виду

не показал, словно стук в дверь и обращение к отцу на «вы» были делом самым обычным.

На столе объявились бутерброды с ветчиной и сыром, яичница на сале и, что уж совсем удивительно, хрустальный графинчик старинной работы с водкой.

— Ты меня сегодня доконаешь, — сказал как можно равнодушнее Диванов, но это у него плохо получилось.

Эрик Матфеевич не ответил, подмигнул как-то странно и налил гостю водки.

Не любил Диванов пить один, но здесь это получалось почему-то естественно.

За едой ни о чем серьезном не говорили: обменивались фразами о делах пустячных, да и эти редкие фразы время от времени прерывались телефонными звонками.

«У него и квартира — блеск, и дочка — разумница, и... водка в холодильнике», — позавидовал Диванов.

Калугин налил ему еще стопку и убрал графин. Стопочка миниатюрная — корвалол принимать. Да и то верно: не пьянствовать же с утра.

Курить вышли на лоджию. И здесь кольнул укол зависти: два кресла, журнальный столик, застеклено, отделано, в углу, под кухонным окном, — обогреватель. Тепло. Видимо, включил его сразу по приходе.

— Ну что, сударь, разобрались с драчунами? — спросил Эрик, пуская дым в рыжие усы.

— И не стал. Поскольку не при деле.

— А сочинение?

— Принес. И не список, а оригинал. Злодейски вырвал два листа из тетради. Это чтобы у Эммы козырей в будущем не было. Я крайне удивляюсь, как она отдала-то мне сие произведение. Подклеили с Философом очередной шедевр, и — дело с концом. Дудкевич, правда, завозбухала, но я уверил, что антисоветский опус мельчайше изорван и развеян по ветру, да простит мне господь эту невинную ложь.

— Не поминай имени Господа всеу.

— Извини. Но — умница мальчишка. Жаль, если пойдет по ленинским местам. А на кой тебе сочинение? Ты же его уже читал.

— Пригодится, — ответил таинственно.

Любил Эрик туман. Да не простой, а желтый, как у Леонида Андреева. Много позже обнаружил Диванов этот опус в одном самиздатском из-

дании, почти полностью и с указанием фамилии, но повредить Сашке известность уже не могла: застои-стагнации кончились.

— Скажите мне, сударь, на вашей памяти школа кого-нибудь исправила? Наставила, хотя бы по ее понятиям, на путь истинный?

Диванов напрягся и вспомнил две фамилии.

— Ни о чем это, Юрий, не говорит, — Эрик единственный в школе, кто называл его полным именем, даже если без отчества. — Никогда и никого эта система не исправляла и не могла. Да и не в этом ее предназначение.

— А в чем? — наивно спросил Диванов.

— В изоляции. И так было всегда. При царизме, коммунизме, и так будет всегда. Особенно в нашем, теперешнем царстве-государстве.

— Уж больно ты пессимистичен...

Они прошли в гостиную и уселись в глубокие кресла напротив друг друга.

— Ты «Записки из Мертвого дома», как я понял, читал. Солженицын в «ГУЛАГе» пишет, а я, как очевидец, утверждаю, что каторга Достоевского в сравнении с советскими лагерями — курорт! О тех каторжных уроках не то что наш лагерник, иной колхозник бы помечтал, хотя, впрочем, колхозник-то (я тут погорячился) развращен бесполезным трудом, а следовательно, подобен каторжнику.

— А наказание палками? — издевательски спросил Диванов.

— Это, конечно, пытка, не приведи господь. Но современные пытки гораздо изощреннее и жестче.

Спорить с Эриком Матфеевичем сложно и не хотелось. Не мог Диванов ни поддакнуть, ни опровергнуть.

— Ладно, — свеликодушничал Калугин. — Дам я тебе «Архипелаг ГУЛАГ» почитать. На два дня. Только одна просьба — никому и ни под каким видом. Особенно — Граббе. Договорились?

Эрик вышел, жестом остановив поднявшегося было за ним Диванова, и минуты через три вернулся с объемной папкой.

— Здесь не все, — заговорил он почему-то шепотом. — Прочитаешь, вернешь, получишь следующую порцию.

Направляясь в свою грустную квартиру, Диванов посмеивался над собой: ну вот, сподобил Господь — приобщился.

1991, сентябрь

Никогда не хотел работать Славка Стихеев: то у него паста кончилась, то в учебнике обнаружил непотребный рисунок, то вопрос не по теме.

— Стихеев! — прикрикнул Юрий Викентьевич. — Не хочешь учиться — сиди спокойно, не мешай другим.

— Не хочу! — ответил дерзко, глядя в глаза.

Диванов оторопел. Давно ему никто не дерзил, отвык, слов не нашёл — задохнулся.

— В чём дело, Стихеев? — волна гнева прокатилась по классу, отразилась от стен и вернулась.

— Ни в чём. А почему мы на свинарник не ездим? Много знаем, да никому не скажем?

Диванов считал до десяти. Маленьким был, когда его высокопартийный отец учил выдержке, но запомнил. Считай, и через десять ситуация покажется иной. И тебе не будет стыдно за взрыв, за срыв, за крик, за удар.

— Подойди ко мне после уроков, — приказал, как попросил, — и мы с тобой всё обсудим. Не надо мешать в кучу чистых и нечистых.

Взволнованный было класс вернулся к самостоятельной работе. Славка тоже уткнулся в бумажный лист, но отвечать на вопрос и не подумал. Это чтоб не казалось ему, что победил. Компромисс. Или консенсус.

Но после шестого урока напрочь забыл Диванов об обещанном разговоре, и была тому веская причина.

Припёрлась с ознакомительной миссией новая завучиха. Сидела смиренненько даже не за партой, а на стуле в уголке — папочка на коленях закружённых. И улыбалась, что-то записывая. Иезуитская улыбка.

Для Диванова урок не урок — песня соловьиная, и он растекался мелкой трелью, длинно высвистывал, коленца выкидывал, не то чтобы для неё старался, а так — марку держал.

После урока — разбор полётов. Если к Карине Ильиничне шёл, как на экзекуцию (всегда найдёт, за что отхлестать), то к экс-партайгеноссе — без трепета. Да и чего турусить? Ей самой учиться надо: ни истории, ни методики её преподавания она, естественно, не знала. Вот лет через пять приходите — поговорим.

— Кофе не предлагаю, — сказала Лидия Васильевна и постучала карандашиком по столу, — и

урока разбирать не буду. Всё прекрасно. У меня другая головная боль — сработаемся ли мы?

В кабинете на первый взгляд ничего не изменилось, и только странным было видеть за начальственным столом не Карину. Ах, Карина, Карина Ильинична! Ещё и сорокового дня не отметили, а уже — как не было человека! Не любил её Диванов любовью брата, но умом и сердцем понимал, что это она сделала его учителем за каких-нибудь два года, что это её послепопелённые розги выпрямили пути его.

— А почему нет?

Перегнулась через стол и с улыбкой прошептала:

— Никогда не прошу тебе! Что же ты против меня?

Гаева имела в виду выборы, Юрий Викентьевич не сразу и понял, взял паузу обдумать.

— Я не против тебя, — ответно шепнул он. — Просто я консерватор. Мне менять ничего не хочется. А тебя я обожаю.

— А ты лгунишка и льстец. Но и это еще не всё. Ходят слухи, что ты кляuzu на директора в прокуратуру наклепал. Так ли это? Ведь однажды предавший предаст и ещё раз. Я терпеть не могу Лисина, но это наша школа! Или ты на его место? Поэтому и от зама по воспитательной отказался?

А тут и Диванову вскинуть брови, удивиться и возмутиться до негодования, но озарило: Эрик дал ход бумагам! Помолчал.

— Я не кляузник, и если ты этого не знаешь, то и говорить об чём? И даже самого маленького руководящего креслица мне не нужно, — остановился, понял, что говорит уж очень серьёзно, едва не патетически, и продолжил:

— Меня устроит только трон. Должность директора Советского Союза. Не меньше. Да вот Союз дуба даёт. Невезуха.

— Всё тебе смешки, а мне не до смеха. Представляешь, что сейчас начнётся? Проверка на проверку! И ведь не свинарник будут проверять — всю школу!

— Тебе-то что волноваться? Ты руководитель без году неделя — взятки гладки. Наоборот, в плюсах: после скажешь, какой бардак был до тебя, зато теперь... А что касается кляузы в прокуратуру, говорю тебе как на духу: ничего не заявлял, ничего не писал.

Диванов забыл — Стихеев помнил. Ждал на проходной. И как вырвался из-под бдительного ока воспитателя? Наплёл что-нибудь. Юрий Викентьевич ещё в мыслях с Диди (как-то обмолвилась, что так её звали в раннем детстве, и не обижалась, когда Диванов в припадке сентиментальности эдак её называл).

— Тебе хорошо спится? — молча зло спрашивал её. — Если ты Карину и не убила, то подтолкнула.

И не было ответа ни от неё, ни от самого себя. Гаева даже на похороны не ходила, впрочем, на выносе была, стояла в сторонке, Диванов приметил. Жизнь. Непонятны её извивы и приговоры.

— Ты чего, Славка?

— Дак вы же поговорить... Как бы за свинарник...

Диванов вспомнил, шелкнул ладонью по лбу и — к дневному режимнику:

— Мы пройдем в комнату свиданий? Поговорить нужно.

Режимник великодушен.

В комнате свиданий никого. Пахнет апельсинами, видимо, недавно у кого-то из воспитанников состоялось сладкое свидание. Всё самое лучшее съедается здесь, дабы не делиться. Апельсины по нынешнему всеохватному на всё и вся дефициту — из экзотики. Их не покупают, их достают.

— На свинарник нас больше не пустят, — предупредил всякое посягательство на инициативу Юрий Викентьевич. — И не потому, что там работы нет или мы такие нехорошие...

— Это вы не хотите, — перебил-таки Стихеев. — Я спрашивал у директора, он сказал, что вы теперь герой и со свиньями связываться не будете.

«Вот свинья, — подумал Диванов. — Это ж надо такую фигню выдумать».

— Ты сам-то веришь? Ну, ладно, я решил не ездить, мог директор кого другого отправить? Мог. Не нравится ему, как твоя бригада работает, во всё нос суёт — мог другую сформировать? Мог. А почему не сделал? Не знаю.

Говорил Диванов и ругал себя: нельзя с учеником обсуждать действия директора школы, это не только антипедагогично, это преступно. Что бы сказали всякие ушинские, сухомлинские, ильины? А всё равно несло, разговаривал, как с ровней.

— Не всё в порядке в датском королевстве, и мы с тобой правильно сделали со всеми этими накладными...

— А где они? — опять встрял Славка. — Лежат, небось, хлеба не просят.

— Ты вот что, беги в отряд. Ещё не вечер. Завтра непременно прояснееет. Узнаешь раньше меня.

С проходной позвонил Эрику. Договорились встретиться в клубе.

С большой неохотой посещал теперь клуб Диванов. После августовской революции (а он только так оценивал происшедшие и происходящие до сих пор события) считал, что клуб себя исчерпал, пресса более чем неподцензурна и не стоит тратить драгоценного времени. Вперёд, вперёд! Нас ждут великие дела. Вяло катился к завершению огромный труд по Смутному времени, а теперь, в свете современной Смуты, стал актуальным и требовал немедленной публикации.

День был не клубный, а потому и народу сам-три. Эрик за супермощным компьютером IBM 486 что-то набирал, а главный и единственный редактор газеты «Северный колокол» Алексеев рассматривал фотографии. Готовился третий номер.

— Прочти, — вместо приветствия Эрик бросил на стол пачечку листов, схваченных скрепкой.

— Что это? — взял брезгливо.

— Статья бывшего коммуниста о государственном перевороте. Но — не совсем бывшего, а ушедшего в подполье. Так он о себе говорит.

Статья называлась «Наше дело правое, мы победим».

— Ты её публиковать собрался? — удивился Диванов.

— А почему — нет? Они теперь без своего органа, без трибуны. Пусть порезвятся немного, а мы им — свой комментарий. Ты напишешь.

— Нет у меня времени ни на чтение, ни на письмо. Делами завален по самое некуда.

— Опять со своей никому не нужной диссертацией? Историю не изучать надобно, сударь, а делать. Особенно сейчас, когда каждый неверный шаг может или реставрировать коммунизм, или развязать гражданскую войну. Она, в сущности, уже идёт, и только слепой этого не видит.

Тоскливо стало Юрию Викентьевичу. Ну, не вечный же борец он! Свалился коммунизм, и бор с ним. Ни сокрушаться, ни особо радоваться не было у него причин. В конце концов, мы все из «Пионерской зорьки». И лучшие годы пришлось на это пресловутое тоталитарное время. Кончилось время разброса камней. Пора их собирать.

— Ты дал ход свинским документам?

— О, с какой же радостью органы ухватились! Теперь рыть будут даже там, где ничего нет.

— А мне отчего не сказал?

Оторвался, наконец, Эрик Матфеевич от компьютера, соблаговолил взглянуть на соратника. По его понятиям, уже бывшего. Категоричен и нетерпелив.

— Ты же мне ещё летом выдал полный карт-бланш. Так отчего претензии? Я что-то не так сделал?

— Всё так, и претензий нет. Но почему я узнаю об этом не от тебя, а от своей начальницы?

— Вот как? Быстро докатилось, — и снова в компьютер.

На другой день прямо с урока выдернули Диванова на допрос. Посадили за учительский стол Владимира Ивановича Пенькова, попросили дать задание ученикам (экая забота об учебном процессе), сказали, что ненадолго, и провели в заучевский кабинет.

Не знал Юрий Викентьевич за собой никакой вины, больше того, должен был чувствовать себя на коне, но робел, руки стали влажными. Так случалось с ним при посещении любого присутственного места: всякий чиновник (а чем мельче, тем хуже) выказывал себя если и не вершителем судьбы, то уж хозяином момента всенепременно.

— Не допрос это, Юрий Викентьевич, — успокаивал следователь примерно одних с Дивановым лет. — Не допрос. Беседа. Я вот и протокола не веду. Может быть, попозже, когда выяснится что-нибудь существенное.

Пытался расслабиться — не получалось. Сидел скованно. Помалкивал.

— Расскажите о вашей роли в деятельности свинофермы. Поподробнее.

Развёрнуто не получалось. Ездил с бригадой воспитанников. Занимались подсобными работами.

— Как вам попали копии накладных и платёжных документов?

— Совершенно случайно, — Диванов решил не впутывать пацанов. — Аркадий Дормидонтович в спешке забыл их на столе, я из любопытства просмотрел их и понял, что очень нечисто в свинском хозяйстве.

— Когда это было?

— Где-то в начале июня.

— А что же вы так поздно обратились к нам?

— Был в растерянности, не знал, что предпринять, а потом уехал в пионерский лагерь.

Постепенно Диванов разговорился, откинулся на спинку стула, припомнил случай с мужичками-несунами, реакцию на них Целуйко, вопиющее несоответствие существующего поголовья с отчётным.

— А теперь расскажите о массовом падеже свиней. Как это получилось, что двести голов одновременно гикнулись, а ни ветслужба, ни санэпидемстанция об этом ни сном ни чохом.

— Не слышал об этом! — Диванов даже приподнялся от удивления. — Какой падеж?

— Да как же не слышали, — саркастически, одними уголками губ улыбнулся следователь и покопался в папке. — Вот заключение вечно пьяного сельского ветеринара, вот акт на списание двухсот голов, а вот ваша подпись.

Следователь протянул лист Диванову.

Оторопело, с пятого на десятое читал Юрий Викентьевич акт, никак не мог взять в толк, возвращался к началу и, так и не успокоясь и не вникнув, отложил бумагу.

— Поймите меня правильно, — проговорил следователь, — я ни в чём вас не обвиняю, просто мне очень любопытно узнать, где это массовое захоронение? Ведь двести свиней — не мышканорушка, не ямка — площадь нужна.

— Да я-то откуда знаю?! — просочилось раздражение, и считать до десяти не удосужился. — От вас впервые слышу о падеже, о захоронении и акта этого до сель в глаза не видел!

— Так что же вы подписывали?

Диванов снова взял лист в руки, повертел его, едва не понюхал и наконец догадался заглянуть вниз. Закорючка подписи была похожа, но не его. Не очень старательно и подделывали. Рядом стояли подписи Целуйко, ветеринара Борисова, какого-то неразборчивого

рабочего и даже воспитанника Марата Литвинова, и похоже — настоящая. Подписи директора, естественно, не было.

— Не моя подпись, подделка, — сказал облегчённо, словно камень сбросил. — Похожа, но не моя.

Глянул на число.

— Да вы посмотрите: 29 июня! Я в это время уже давно в Бердянске был. Я физически не мог подписать.

Захватили перемену и часть второго урока. Диванов уже притупел от повторяющихся вопросов, отвечал голосом натруженным и мечтал вернуться в класс. А следователь (это уже потом понял Диванов) не хотел поверить, что сидящий перед ним почти подследственный никак не нагрел руки на двадцати тоннах мяса.

В класс вернулся взмокшим и пустым. И надо же — восьмой. А уже вырубился, не поймать ни класса, ни темы урока. Славка Стихеев смотрит во все глаза.

На стул не сел — плюхнулся. Упёр локти в столешницу, голову ладонями сжал, а в классе — тишина. И так — минуты три.

— Ну что, господа юнкера, будем учиться или с кем?

— Или с кем! — выдохнули дружно.

— Тогда начнём допрос с пристрастием. Литвинов, ты где свиней хоронил? И почему я ничего не знаю о преждевременной кончине наших подопечных? Поскольку ты один был на траурной церемонии, поведай нам, как проходило прощание.

Литвинов стоял, потупив голову. Славка дёрнул его за свитер:

— Говори, сука.

— Поаккуратнее со словами, — урезонил Юрий Викентьевич. — Что ты там подписал, Марат?

— Сам не знаю. Аркаша принёс какую-то бумагу, сказал: подпиши. А мне чего? Я и черкнул.

— Вот откуда у тебя сигареты были! — прилетел тычок от Стихеева. — А что плёл? Украл в лавке! Ну, дождись вечера!

— Никаких разборок, мой юный друг. Поезд ушёл. Забыли. Судя по всему, наша свиноферма приказала долго жить.

Диванов неожиданно и горько почувствовал вокруг себя пустоту. Следствие ничего не на-

копало. Точнее, выстроилась чёткая и единственная версия: на ферме велась двойная бухгалтерия, никаких массовых захоронений не обнаружилось, более того, по свидетельским показаниям, на ферму по ночам приезжали фуры и что-то вывозили. Следовательно, где-то пятнадцать-двадцать тонн свинины благополучно уплыли в туманную даль, денег никто не видел, а вместе со всем добром растворился в необъятных просторах Советского Союза энергичный Аркадий Дормидонтович. Все остальные были как бы ни при чём.

Но Николая Ивановича Лисина за слабый контроль с должности сняли и перевели директором школы-интерната для слабовидящих. Ещё бы плохослышащих и почти недвижимых — была бы сказка, а не работа.

Оказалось, что сторонников Коли-Вани в школе было совсем не мало и все они считали, что виной смещения их горячо любимого шефа был Диванов. Как-то и в голову не бралось, что вокруг директора плелись преступные махинации, что он сам, сто пудов, спрятал в портмоне не одну тысячу деревянных.

Нет, с ним здоровались, некоторые даже улыбались, но без душевного расположения, по-американски, что ли, — дежурно. В прежних отношениях остались только Неронов, Калугин и, как ни странно, Лидия Васильевна. Даже симпатичная во всех отношениях Екатерина Фёдоровна выказала холодность, и дивановские мечтания о романтическом ужине наедине развеялись в прах.

Эрик Матфеевич в этой истории остался в совершеннейшей стороне, вся его роль была передать документы, а больше он — ни слева ни справа. Да и не выпячивался.

Но на вершине триумфа оказался Славка Стихеев. Самый последний пацан знал, что это он зацепил директора, а если уж такого начальника свалил, то сошек помельче — одной левой.

Две противоположных славы обрушились на Диванова в течение месяца: августовская — лепестками роз и сентябрьская — камнепадом. Но вторая, может быть, и к добру. Теперь он в школе не задерживался ляссы точить, разве только в «окно» зайдёт к Каратаеву в подвал покурить или к Диди на чашку дефицитного кофе. Сергей Сергеевич над ним добродушно

посмеивался и благодарил за ещё один шаг к его, каратаевской, реставрации.

Но ему опять не высветило: совершенно неожиданно для всех директором был назначен Олег Дмитриевич Залетаев.

2003, католическое Рождество

— А вы что, нерусский? — спросил Максим, глядя, как любовно украшает Вася маленькую, с полметра высотой, ёлочку.

— С чего ты взял?

— До нашего Рождества ещё две недели, после Нового года, — прихвостнул знаниями Макс.

— Русский я, — вздохнул Вася — и только Вася, никаких отчеств, даже раздражался, если пытались. — Просто крестили меня в лагере католики. В моём кругу православных не было. И главное — не церковь, а Вера. Не бывает Веры неправильной. Она или есть, или нет её.

Задумался Максим Федосеев. Не по уму задача. Вон библиотекарьша в спецухе говорит, что спасутся только люди ихней веры. Спросил у Васи.

Иван Иванович в бороду ухмыльнулся и тоже стал дожидаться ответа.

— Никто не знает, что такое Бог. Ни я, ни Папа, ни Патриарх. Разве только ваша библиотекарьша.

Вася не улыбнулся и даже интонации не сменил. Говорил ровно и приглушённо, словно сам с собой.

— Библиотекарьша говорит, что если сильно молиться, то Бог пошлёт, что захочешь. Одна её знакомая очень бедная девочка молилась, и Бог послал ей куклу Барби со всякими там причиндалами. А ей самой — сапоги.

Тут Вася не выдержал формы — рассмеялся. Вслед за ним — Иван Иванович. И мелкой звонкой дробью, не зная чему, залился Максим.

— Эдак мы, Максимилиан, не Богу молимся, а благополучию своему. Так ты можешь папаше любимому или не очень молиться, глянь, и вымолишь мопед или что ещё нужное. А не получится — хлопнешь дверью и был таков. Господь — не папашка.

— А зачем такой Бог, если не помогает? И об чём тогда молиться?

— О спасении души, — ответил Вася и вернулся к ёлке. И уже из-за спины добавил, — но время твоё ещё не пришло.

Украшения были немудрёные: узоры из фольги, картонная звезда на вершинке и маленькие свечечки, похожие на церковные огарки, — такие Максим видел, когда был в церкви с отцом.

— Который час? — спросил Вася.

Часы были только у Макса.

— Скоро одиннадцать.

— Ну, первая звезда у нас давно зажглась, — потёр ладони Иван Иванович, — пора и к столу.

— А вы тоже католик?

— Я — алкоголик. По мне, была бы водка, а праздник найдётся.

«Странные они какие-то, — думал Макс, глядя, как Вася разливает им, Максом, купленную водку, — вроде и бичи и алкаши, но непонятные. Водку пьют, а не воруют, не матерятся, разговоры умные разговаривают».

Иван Иванович и Вася заспорили о чём-то непонятном, и Максу стало скучно. Его не радовала и музыка из плеера, не тешила примитивная ёлка, ранняя для Нового года.

— А Бог во сколько родился? — спросил он, лишь бы что-нибудь сказать и развести спорщиков.

— Бог не родился никогда, — опять серьёзно ответил Вася. — Он вечен.

— Это как? — не понял Максим. — Был всегда?

— Да.

— А кто родился?

— Христос.

— Он что, не Бог?

— Бог.

— А почему родился?

— Ты ещё слишком юн, — хмельно взорвался Иван Иванович, — чтобы понять всё это! Слушай, что Вася говорит, и запоминай!

— Не трогай пацана, — таким же тихим и трезвым голосом, но жестко сказал Вася. — А ты, Максимка, не обижайся, он мужик не злой.

— А чо мне обижаться? Я и не такое слышал, — бравировал Макс. — И в спецухе, и в распределителе. А в ментовке и круче... И дома, — добавил тихо и глухо.

И сделалось Максу тоскливо. Он торопливо оделся в прихожей, перчаток не нашёл, плюнул — отправился так.

— Ты куда? — услышал сзади, но не ответил, боясь прилюдно расплакаться, а дверью хлопнул.

Он шёл, не разбирая дороги, не ведая куда и видя перед собой только свои ботинки. «Нету дома, нету дома», — тупо вертелись в голове два слова, но в них была вся его теперешняя жизнь. Ему захотелось забраться на крышу самого высокого в городе дома и прыгнуть вниз. Ощутить то ли падение, то ли полёт. И если есть Бог, Он его подхватит и унесёт куда-нибудь, где нет зла.

После вчерашней оттепели слегка подмораживало. Дул пробивающий куртку и свитерок ветер. Прохожих почти не было. Изредка где-то во дворах взрывались петарды.

На крыше девятиэтажного дома ветер и совсем стал невыносим. Он присел за вентиляционную трубу и закурил. И снова тупая мелодия: «Нету дома, нету дома».

Послышались голоса: на крышу вкатилось человек пять-шесть молодых парней и девиц. У них были ракеты и шампанское. Максима они не заметили, прошли мимо, словно он был частью трубы. А чего замечать? Кто он такой, чтобы его замечали? Он вообще никто и ничей!

Макс встал и подошёл к парапету. Он был ему по грудь. Слева от него стреляли и кричали. Это ему салютовали, его полёту. Он представил, как будет рыдать мама, молча стоять отец. Станет глотать слезинки Алёна Геннадьевна, а Юлька упадёт ему на грудь, и её даже силой не смогут оттащить.

Он не видел, что внизу. Приподнялся на носки, потом подтянулся и лёг животом на парапет. Отсюда не было видно ни снега, ни кусков. Темнота.

«Нету дома, нету дома».

Надо было встать на парапет, потом оттолкнуться и раскинуть руки, но всё тело дрожало и сопротивлялось.

«Нету дома, нету дома».

Он снова опустился на крышу и огляделся. Весёлая компания пила шампанское. Рядом с ним прямо на снегу сидел сильно пьяный парень и пытался позвонить по сотовому. После третьей неудачной попытки он опустил голову между колен и захрапел. Макс повеселел — опять удача.

Лишь через три квартала Максим перешёл на шаг. Знал ведь, что после экса нельзя бегать, но ноги сами задали темп, и он никак не мог с ними

справиться. Зловредная песня «Нету дома» сама собой выключилась.

Он свернул под полуосвещённую арку и достал лопатник. В нём оказались приличная пачка денег и какие-то документы. Денег считать он не стал — не зарплата, бумажник с документами положил на ближнюю скамейку. А телефон был накрученным. Жалко с таким расставаться, но завтра надо продать: слышал Макс, что если даже заменить сим-карту, всё равно менты вычислят. Пусть кого другого вычисляют.

Но один звонок он всё же сделал: позвонил в отдел доставки гипермаркета и заказал три больших пиццы, разных салатов, бутылку водки, большую колы и мороженого.

Иван Иванович смотрел на Максима, как Волька на Хоттабыча. Мужики успели протрезветь, вздремнуть, и Вася отрешённо смотрел на кружку с парящим чифирём.

— Наш юный друг наследство получил, — попытался сострить Иван Иванович. — А как же заповедь «не укради»?

Максим пожал плечами и до ответа не снизошёл. Экспроприация. Вытащил из кармана пачку «Парламента», повертел её в руках, но закуривать передумал. Мороженое. Кола. Рождество.

2003, 31 декабря

Грустно и одиноко сидел Диванов на полу перед маленькой, густо усыпанной игрушками ёлкой. Тревожно, памятно ещё с отцовских похорон пахло хвоей. Куражился, явно издеваясь, телевизор, и Юрий выключил его. До Нового года оставалось около четырёх часов, гостей не предвиделось, и его никто не ждал, а посему и одет он был в халат, обут в разношенные тапочки и мокрые волосы непричёсанно торчали по всем сторонам света.

— Ну, — сказал он самому себе, — с лёгким паром.

Выпил стопку водки и закусил тонюсеньким ломтиком лимона с сахаром. С мокрых волос стекали капли воды, холодно пробежали по спине, и Диванов ёжился от дискомфорта. Но неладно было не только спине, не только халатному телу, но и маленькой (по Бхагавад-Гите, меньше

атома, затерявшейся где-то в огромном сердце) душе. Он впервые за всю свою многовековую историю встречал Новый год один.

Мысли его перескакивали с предмета на предмет, и, если бы их можно было зафиксировать, сложился бы затейливый калейдоскоп. Диванов и попытался это сделать, используя в качестве фиксажа ещё одну стопку водки с ещё одним ломтиком лимона, но получилось и хуже, и гаже, поскольку мысли полезли сексуально-извращённого толка. И вырисовывалась не то жена, не то Екатерина Фёдоровна, но скорее нечто усреднённо женское с безличным лицом, словно дива из бесконечного сериала, и тогда он тряс головой, отгоняя неуместные и совращающие виденья.

Огни в квартире были погашены, и только подмаргивающий свет гирлянд освещал небольшое полукружье перед ёлкой.

Он сидел, обхватив руками колени, и слабо покачивался, словно жалея себя и убаюкивая. Иногда ему грезилась мама, да и немудрено: сколько вглубь себя помнил и до маминой смерти они украшали ёлку вдвоём. Потом к ним присоединился Вик, но ненадолго, пока тот не понял, что Дед Мороз и прочая новогодняя дребедень — сказки для детей младшего дошкольного возраста. Вик, должно быть, родился взрослым. Юрий Викентьевич стал прикидывать, когда, на каком извие его непрямого пути потерял сына, и вдруг понял: никогда. Чтобы потерять, нужно иметь. Или хотя бы найти.

«Грустно и гнусно всё это», — подумал Диванов и налил ещё водки, но то ли напиток был слаб, то ли настроение не то — водка не брала.

В предновогодье принято подытоживать год, но Юрий почему-то подытоживал жизнь. Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твоё? И чем более он удалялся в прошлое, тем явственнее ощущал бесполезность прожитых лет, словно он прошагал по жизни в одиночку, параллельно всем.

— И что я сотворил? — спросил себя вслух. — Не 23, а за 50, и что сделано для бессмертия?

И засмеялся от мазохистского удовольствия.

За окном завзрывались петарды, завзлетали ракеты, отдалённо соревнуясь с дивановской гирляндой, и это отвлекло Юрия на какое-то время.

Он подошёл к окну. Молодёжь веселилась. Девушки повизгивали. Пацаны орали, словно запускали ракету к дальним мирам.

Диванова раздражила картина всеобщего веселья. И женский визг, и детский крик, и распадающиеся звёзды фейерверка — всё вызывало ощущение театральности, ненужности и собственной потерянности. Он уже не помнил, какую по счёту выпил стопку, но не пьянел, а только накапливал злость непонятно на кого, только не на себя, хотя обычно в такие минуты самоедство было его излюбленным занятием. Да ещё чуть назад, до взрывов первых петард, он с наслаждением кромсал свою больную, размером меньше атома, душу.

Неожиданно громко зазвонил телефон.

— Что за чертовщина! — выругался вслух, но вспомнил, что выключил только мобильный, а городской забыл.

Говорить ни с кем не хотелось, но телефон трезвонил, рая уши, и оставалось или выдернуть провод, или поднять трубку.

— Слушаю! — рявкнул в мембрану.

— Что-то у тебя, старик, голос не праздничный, — раздался баритон Кожевникова. — С Новым годом!

— И тебя, Толя... Захарович, — понизил градус напряжения Диванов. — И твою любезную супругу.

— С кем веселишься? Сын приехал?

— Один веселюсь, — голос упал почти до шёпота.

— Да ты что?! — неподдельно изумился Кожевников. — Давай-ка сворачивай своё одиночество, старик, хватай шампанское и водку и мигом ко мне. Как в давние студенческие, а? Ксюша тебе всегда рада.

— У нас Диванов будет, — крикнул куда-то мимо трубки, вероятно, в кухню.

— Спасибо, милый доктор всяческих наук, но я такой никому не нужен. Я сегодня мизантроп.

— Мы тебя вылечим, старик... — но Диванов его не дослушал — положил трубку.

«С чего это вдруг? Благодетель хренов! Первый раз пригласил со студенческих времён, — вновь накручивал в себе раздражение. — Может, что с семинаром не срослось? Да и плевал я на семинар! Кому он нужен, если уже и мне не нужен?»

Прошёл на кухню, сделал три бутерброда: с

ветчиной, сыром и пикантным лососем. Есть не хотелось, но как без закуски-то? Глянул на часы. Без четверти девять. Или двадцать один. Медленно тянулось время, даже не поверил, но убедился в гостинной: большие напольные часы показывали столько же.

«Пить в одиночку — верный путь к алкоголизму. Ну, за новую светлую дорогу».

Гирлянда светилась, петарды взрывались. За окнами, за стенами, над ним и под ним резвилась жизнь, недоступная и параллельная его жизни. Параллельные не пересекаются, если они в одной плоскости.

Опять ожил телефон.

— Да что это я никак не отключу его! — уже привычно заговорил вслух. Если не с кем, то почему бы и не с самим собой. Во всяком случае, никто не оппонирует, вечный компромисс.

Этот звонок следовало принять.

— С Новым годом, папа! — голос сына бодрый и уверенный — голос человека без червя сомнений.

— С Новым годом, сынок, — Диванов пытался придать звучанию беспечность и весёлость. — Как вы там? Как мама?

— Всё ол райт! Мама ошопилась. Довольная, сидит напротив, шампанским балуется. Жаль, что ты не приехал, мы бы славно повеселились. А ты с кем встречаешь?

«Славно бы повеселились, — саркастически подумал Диванов. — Знаю я ваше забугорное веселье — все по квартирам, как в норах. Чуть попить, чуть попеть, чуть «Голубого огонька» и баиньки».

— Пока один, — ответил многозначительно, но сын ответа и не ждал.

— Маму дать?

— Поцелуй её за меня. Удачи тебе. Кстати, ты когда меня делом сделаешь, а то помру — потомства не увижу.

— И тебе, папа, удачи, — Вик решил не отвечать на вопрос. Это в его стиле. Ему совершенно не важно, что говорят и думают другие. Весь в мамашу.

Юрий Викентьевич ещё долго держал в руке коротко попискивающую трубку, обсасывая давнишнюю мысль, что вот, если явится миру внук его, как жизнь сразу наполнится новым смыслом, не вникая, что жить придётся в раз-

ных царствах-государствах и влияние дедово будет невелико.

Стало зябко, и Диванов облачился в спортивный костюм, старый, притёртый к телу и тёплый.

— Ну, за сына, — сказал он, усаживаясь на пол перед ёлочкой. Говорить вслух стало потребностью — создавалась иллюзия присутствия. непонятно кого или чего, но — присутствия.

— Как там? Построить дом, посадить дерево, родить сына и написать песню. А какой дом? Эта квартира, ещё пятнадцать лет назад шикарная, а сейчас старая, полумузейная, полуантикварная, досталась от папы-мамы. Или срубить деревенскую избу с огромной кухней и русской печью в ней? Не по дивановским талантам и деньгам. А если иносказательно? Дом, пусть и шалаш, — это крепкая нерушимая семья? Да какая, к чертям собачьим, семья! Гляньте, люди добрые, предпенсионный старик один Новый год встречает! Значит, и сына, если по большому счёту, не родил? Не наладилась у них родовая связь... Впрочем, и у него самого, у Юрия, не было этой самой родовой связи со своим отцом... С мамой была. Да ещё какая! Это она лечила его синяки да ссадины, закапывала в уши борную кислоту и читала на ночь «Тысячу и одну ночь», «Калевалу», «Витязя в тигровой шкуре», это ей он поведывал свои детские сердечные увлечения, это перед ней он раскладывал планы на будущее и ни разу (ни разу!) не слышались в её мягких суждениях ирония или насмешка, или сомнение.

— Эх, мама, мама, — прошептал он, — как же мне тебя не хватает! Прилети на секунду, обогрей, ободрь или побудь чуть-чуть рядом, пусть молча, лишь бы я почувствовал, что ты здесь.

Померещилось? Или на самом деле было какое-то дуновение, какой-то шелест? Померещилось... Но стало легче, и Диванов даже рассмеялся от щеkotливости волны, пробежавшей внутри от живота к сердцу.

Он глянул на часы и присвистнул — 22.30. Как время-то пробежало! Мистика. Пора уже Старый год провожать, и есть захотелось. Вспомнил: после утренней яичницы — только вечерняя водка с лимоном. Три бутерброда, ранее приготовленных, так и лежали нетронутыми, сыр уже начал загибаться.

Конечно, он ничего не готовил и не собирался. Накупил в гипермаркете полдюжину готовых салатов и четыре антрекота. И водки на небольшое цунами, и шампанского плюс к жениному. Сейчас мясо в микроволновку — и пировать.

Устроил под ёлкой восточный стол: постелил газету, дабы не испачкать длинноворсистый ковролин, на неё огромную, ещё мамину, разделочную доску. А далее — по-западному: серебряные вилка и нож, хрустальные рюмка и бокал — и это всё оттуда, из детства и юности. Только еда из гипермаркета. И сам неизвестно откуда.

Теперь принято подводить итоги года минувшего, но они не подводились. Не итожилось. Наверное, потому, что нечего было итожить.

Диванов напрягался, тужился и пыжился, но извлечь из памяти какое-нибудь, хоть мизерно значительное, деяние не смог. Это сперва изумило его, потом огорчило и настолько, что недавние эйфория, взлёт настроения эфирно улетучились, уступив место привычной панической депрессии.

«Всё плохо, — раздирал себя Диванов, — даже отвратительно. Жена — дура, сын — оторва, работа — каторга, и глупо думать, что можно как-то всё изменить».

И он понял, что нет у него ни сил, ни желания заниматься собственным благоустройством, что гораздо проще убаюкивать себя стечением, обстоятельствами, происками завистников и ещё чёрт-те чем и находить в этом упокоение, смешанное со злорадством.

— Спецуха всё, — в который раз заговорил вслух. — Это детишки приходят на год, или два, или три, а я сам себе определил — пожизненно. Вот когда я сломался: не вчера, не год назад, а двадцать. Тогда ещё можно было уйти в науку... Или нельзя? Спецуха, спецуха, спецуха...

И тут снова зазвонил телефон. Диванов вздрогнул, с трудом поднялся (запьянел-таки, — подумал ехидно), вышел в прихожую, но трубку снял не сразу. Он будто наслаждался соло телефона. Без оркестра. На седьмом звонке снял.

— Да.

— Юрий Викентьевич, с Новым годом! — слышался неуместно весёлый голос Екатерины Фёдоровны, и Диванов понял, почему он до сих пор не выдернул телефонный шнур — ждал,

подспудно ждал этого звонка, но случился он поздно.

— И вас, Екатерина Фёдоровна, с наступающим. Желаю... — и загнулся, не зная, что пожелать, и ввернул первое, — любви великой и разделённой. Пожелал бы талантливых учеников, да где их взять? Спе-цу-ха! — это слово он протянул на каждой гласной, подчёркивая всю низость их общего учреждения.

— Вы один? — тревожно спросила Екатерина Фёдоровна. — У вас всё в порядке?

В трубке Том Джонс пел «Лайлу».

— У меня? Да. Всё хорошо. «Сын в детсаде, жена на работе, вот сижу, завернувшись в халат, дум не думаю, жду — позвонят».

— Теперь чувствую, что всё хорошо, коль Кушнера цитируете. Может быть — к нам? — в голосе проявились просительные нотки. — А то у нас мужиков не хватает.

Вот это она зря сказала.

— Нет, — ответил он жёстко, но тут же смягчился — натура. — Я уже одет, еду к Кожевникову.

— Передайте мои поздравления Анатолию Захаровичу, — сухо завершила Екатерина Фёдоровна и отключилась.

Диванов засмеялся. Ему стало свободно от маленькой лжишки, словно он разорвал одну из цепей, сковывавших и тело, и душу. Вспомнилось, как месяца три назад бежал он на вокзал проводить Катеньку на поезд, как носился вдоль состава, не зная её вагона, как увидел её в промельке уходящего состава, и даже не всю её, а только большие удивлённые глаза и руку, прощально махнувшую.

Было и прошло.

— Всё, всё! — Диванов потёр руки. — Встречаем Новый год. Что он нам несёт? Новый поворот?

Полез за заветной видеокассетой, долго рылся в залежах, нашёл, и вовремя — без четверти полночь.

На экране появилась впечатляющая фигура дорогого, горячо любимого и анекдотично косноязычного маршала Леонида Ильича. Под успехи советского народа в деле строительства коммунизма достал бенгальские свечи и открыл обрешётку шампанского. Брежнева сменил минеральный секретарь времён пика борьбы с алкоголизмом. Он об успехах не говорил — о демократии. Жаль, не смонтировался Хрущёв, а на

Путина времени не хватило: когда переключил видео на TV, отзвенел двенадцатый удар. Шампанское лить? Свечи зажигать? Шампанское. Скоренько выпил без всяких «новых счастья» и несбывающихся пожеланий.

1984, апрель

Юрий Викентьевич, не особо напрягаясь, вкатился в работу воспитателя. То, что с позиции режимника казалось простым и легким, на деле оборачивалось не то чтобы тяжёлым трудом, но иным, отличным от халтурного. Режимник на отряде что? — поднял, пересчитал, проследил и сдал, а воспитателю приходилось учитывать и настроение, и психологию, и возможности всех и каждого.

Диванов пытался во все вмешаться: от половых тряпок до переписки с родителями. Последнее оказалось делом архиважным. Сироты — конечно, им получать неоткуда, но и большинство из них нет-нет да и осчастливливались конвертом со штемпелем от приятелей по детским домам, а то и от девчонок. Не все письма вручались адресатам, поскольку содержание многих было на русский язык непереводимо.

Диванов любил утром поспать и по этой причине время от времени опаздывал на подъемы, что ему неоднократно ставили на вид. Теперь он в своем шкафчике в воспитательской держал бритву и зубную щетку, дабы привести себя в порядок, если был в цейтноте.

Он терзал электробритву, когда в воспитательскую заглянул Федор Ильич.

— У вас все на месте? — спросил он вразяжку.

— Все, — засмутился Юрий Викентьевич и выключил аппарат.

— Да брейтесь, только побыстрее. У нас, кажется, побег намечается.

Юрий Викентьевич споро и не очень чисто добрился. Пулей выскочил в спальню. Пересчитал. Все заправляли постели. Становилось понятно, отчего сегодня зарядку провели в игровой, а не на улице.

Прибежал пацан из первого коллектива, крикнул:

— Ремень, к директору!

У дверей сидел Валя Граббе.

— Ты чего домой не идешь? — спросил Диванов. — Заработался? Или на подмене?

— Всю смену оставили до девяти. Ты не в курсе? Такой раздрай! Полковница примчалась сама не своя, на всех наорала, Гуся вызвала, Хаджи найти не могут.

— Он же на больничном...

— В том-то и дело! А тут ищи-найди. Жена ответила — в поликлинике.

Следствие вела сама Светлана Андреевна. Уже были допрошены и отправлены в карцер Лешка Дураев и трое из первого коллектива. Как считала директор, заговор был обезглавлен.

В девять, после сдачи отрядов учителям, режимники и воспитатели собрались в директорском кабинете.

— Евгений Александрович, вы знали, что готовится побег? — в упор глядя на своего помощника, спросила Личанская.

— Ни сном ни чохом, Светлана Андреевна, — почти побожился Гусев и отчего-то начал говорить о проводимой им профилактике побегов.

— Это вы прокурору будете докладывать, — оборвала его директор, — а мне по существу и предельно откровенно: вы знали, что Мамедов устраивает побег?

— Нет, — коротко ответил Гусев и сел.

Картина нарисовалась удручающая. В шесть утра Светлане Андреевне позвонил Коваль и сообщил, что режимники ночью обнаружили припрятанную одежду под лестничным маршем в подвал. По метке на одной из курток отыскался хозяин, который был допрошен с пристрастием. По его наводке вышли еще на четверых. А уже через них на Хаджи Саидовича.

Коваль хоть внутренне и съезился, но выглядел молодцом.

Личанская нажала клавишу на телефоне.

— Лариса, зайдите ко мне.

Вошла секретарша с блокнотом.

— Пишите приказ. В связи с подготовкой массового побега запретить вход на территорию школы Х.С. Мамедову вплоть до окончания расследования.

Оперативка затянулась, и Диванов решил не ездить домой. Сходил на поклон к шеф-повару Зое, и та накормила его молочной пшенной кашей и крепким чаем с бутербродом.

— Ну, что там с Хаджи? — спросила Зоя.

Диванов набросал абрис.

— Жалко мужика.

— Ты знаешь, Зоинька, кого он мне напоминает? Лаврентия Павловича Берия.

— Это почему?

— По стремлению к власти. Спасибо, солнышко, с меня шоколадка.

На проходной сидел Соломенников, как всегда, воплощенное похмелье, но сегодня на это никто внимания не обратил. На минувшей неделе он получил очередное четыреста двадцать третье последнее китайское предупреждение и чувствовал себя обреченным.

— Ну что, — со злостью спросил он, — сдали Саидыча? Эх вы, мужики. Под бабой ходите, подкаблучники!

— Успокойся ты, нас никто и не спрашивал. Закуривай, — Диванов протянул сигарету.

— Не могу, мутит до блевотины.

Едва Юрий Викентьевич успел прикурить, как на проходную влетела Личанская. Входить она не умела.

— У вас накурено, мальчики. Я — в министерство. Буду после обеда. Или как получится. За меня — Карина Ильинична.

— Увольнять Мамедова? — усмехнулся Соломенников. — Быстро, однако.

— Главное — не поздно. А вы опять заряжались? Смотрите, как бы вслед за Мамедовым не отправились работу искать.

— Подумаешь, напугала! — перешел на ты режимник. — Да я таких работ тыщу найду. Сейчас ухожу. Сам, — и кинулся за пальто.

— Если сейчас уйдете, то по статье.

— Да хоть по двум.

Диванов стоял раскрыв рот и не зная, как отреагировать.

Светлана Андреевна сняла трубку и набрала номер школы.

— Пенькова мне на проходную. Быстро! — приказала она.

Явился Владимир Иванович.

— Соломенников уволен. Отсидите сегодня на проходной, — и добавила, — пожалуйста.

Между школой, мастерскими и проходной бегал Евгений Александрович. Выдергивал пацанов с уроков, беседовал с ними тет-а-тет, куда-то звонил. Во всей его фигуре читалась паника. Пе-

ред полдником он наконец-то дозвонился до Мамедова. Говорил он с ним со своего телефона, но Вова Пеньков подслушивал — телефоны на одной линии. Можно было и не подслушивать: временами Гусев переходил на крик.

— Похоже, и нашему начальнику швах, — сказал Владимир Иванович, осторожно кладя трубку на рычаг. — Он тоже по уши замазан.

Диванов пожал плечами. Не понимая умом, он всем ливером чуял перемены и боялся их. Новые метлы с их новой методой метения не сулили ничего прекрасного. К старым уже приспособился, знаешь все их развороты, даже самые неожиданные.

— Неужели мудрый Хаджи решился на эдакое безрассудство? — риторически спросил он.

— Думал, если Каратаева свалил, то и полковнику срежет, — тоже как бы про себя отметил Пеньков. — Попьешь чайку со мной?

Диванов согласно кивнул.

— Можно я к Лешке Дураеву пройду? — попросил Юрий Викентьевич после чая и перекура.

— Пойдем. Только я тебя с ним закрою.

— Не доверяешь?

— Всякое может быть.

Лешка лежал на панцирной сетке кровати — постельное принесут только после ужина.

Обстановочка убогая: малюсенький столик, винченый в пол, так же закрепленные табурет и койка. Крохотное зарешеченное окошко. Трехсекционная батарея отопления. Всё, мягко говоря, по-спартански.

— Как ты здесь, страдалец? — спросил, оседлав табурет.

Дураев сел на кровати, опустил голову и махнул рукой.

— Сам вижу, что не мед. Тебе сколько дали?

— Не знаю. Гусь сказал, посидишь до вечера, там видно будет.

— Не Гусь, а Евгений Александрович. И как тебя угораздило в эту авантюру вписаться? Ты о выпуске подумал? Ведь завтра опять мама твоя прибежит, плакать-рыдать будет, а я что ей скажу?

Воспитанники по социальному статусу делились на заброшенных и зацелованных. Лешка был из разряда последних. Отца у него не было, а мамочка души в сыночке не чаяла и по мере финансовых возможностей обеспечивала его всем,

что хочет подросток. Но, несмотря на работу бухгалтером на солидном предприятии, мопедами с мотоциклами радовать не могла, и дурайчик нашел выход сам: угонял мопеды, разбираал на запчасти, а из них собирал свой, ни на один из угнанных не похожий.

— Вы не говорите ей, что я в карцере, — попросил Алексей, — скажите, свидания запрещены.

— Охотно сказал бы, но она до меня с режимником встретится, возможно, с директором, и потом, завтра я выходной.

Гонщик задумался. Расстраивать мамашу ему не хотелось.

— А вы попросите директора, чтобы меня завтра выпустили. Год кончается, учиться надо.

— Спихватился. Попросить я могу, только чем мотивировать буду? Мамочку не хочет обижать? Здесь аргумент весомей нужен. И что скажут пацаны, если тебя выпустят, а остальных нет?

— Никто против меня рта не раскроет, — самоуверенно парировал Лешка. — А вам я расскажу, как дело было. Меня этот чурка вызвал к себе (Диванов «чурку» пропустил мимо ушей) и прямо попросил организовать побег. За это обещал выпустить в июне. Я поначалу не соглашался, так он сказал, что не выпустит и в августе. А если я вздумаю кому-нибудь передать, то мне никто не поверит, а он меня в другую спецуху обменяет. Что мне было делать? И куртки со спорттовками были в его кабинете, мы их после ужина, когда нижний коридор мыли, под лестницу спрятали.

То-то Диванов был удивлен, когда вчера узнал, что Гонщик сам вызвался выносить ведра с грязной водой. И стало ясно, отчего Хаджи Саидович больным пришел на работу и уже после ужина. Не понять было Юрию Викентьевичу позицию своего шефа. Было в ней нечто и демоническое, и отчаянно-глупое, так не похожее на его восточные хитрость и вероломство.

— Я поговорю со Светланой Андреевной, все зависит только от нее. А какое участие принимал во всем этом Евгений Александрович?

— Точно не знаю. Он на первом коллективе с пацанами базарил, а мы толком и сговориться не успели.

Что-то темное было в этой истории, полной неувязок. Какого дьявола режимники ночью полезли под лестничный марш? Вселенский

шмон? Они шага лишнего не сделают без приказа. Отчего Коваль, муж прокурорши, позвонил не своему начальнику, как должен был сделать, а директрисе? Хорошо еще не министру. Кому пришла в голову бредовая мысль искать метки на одежде, если никогда ее не маркировали? Много непоняток вырисовывалось, но Диванов, покряхтев и почесав затылок, решил, что это не его заботы, пусть анализируют те, кому положено.

— Ладно, сиди, мой юный друг. Ленин тоже сидел, — утешил Лешку Юрий Викентьевич. — Что-нибудь сотворим для твоего вызволения. Постучи-ка в дверь посильнее.

Гулко отнабатило дверное железо, и через минуту в глазок заглянул Владимир Иванович.

— Все нормально? — спросил он.

— Надо бы хуже, да некуда.

— На обед остаешься без компота, знаешь об этом? — спросил Пеньков у задержанного.

В карцере кормили так же, как и в столовой, за исключением десерта. Впрочем, это была местная инициатива — никакими нормами и правилами сие предусмотрено не было.

На доске объявлений висел свежий приказ. Им же Федор Ильич Михайлов назначался исполняющим обязанности заместителя директора по воспитательной работе. Еще одна странность: всем известна дружба Мамедова и Михайлова, и как не замарался в этой клоаке старший воспитатель, а сверх того пошел на повышение? Темна вода во облацех.

Светлану Андреевну пришлось ждать. Юрий Викентьевич после обеда сдал отряд в мастерские, на вечер выходила Ирина Петровна, ему бы сейчас сесть с соседом, древним, как и весь их дом, за бутылочкой зелена вина, соседом же любовно из смородины изготовленного, и расслабиться, скинуть дурную энергетику, так нет, торчит непонятно зачем на проходной.

Личанскую привезли на гэбэшной машине.

«Ого, — подумал Диванов. — В бой брошен резерв главного командования».

— Светлана Андреевна, уделите мне пять минут вашего драгоценного времени.

— Вам — сколько угодно, — ответила весело, и это означало, что Голиаф повержен.

В кабинете Диванов уселся скромненько, в почтительном отдалении, но Личанская почти

насиленно пересадила его рядом с собой и приказала Ларисе сделать два кофе.

Кофе явился почти сразу. Дефицитный. Растворимый. И коробка конфет «Птичье молоко». Подивился Диванов, но вида не показал, словно и кофе, и конфеты — его затрапез.

— Я знаю, вы любите покрепче, вот вам вторая ложечка. О чем вы хотели со мной поговорить?

— Мне кажется несправедливым содержание ребят в карцере. Они были пешками во взрослых играх...

— Вы так думаете? — директриса лучезарно улыбнулась. — Почему?

Юрий Викентьевич вкратце передал свой разговор с Дураевым. Светлана Андреевна, казалось, не слушала его.

— Я предлагаю вам должность своего заместителя, — совсем не в тему сказала она.

Диванов поперхнулся кофе. Личанская кулачком постучала по его спине.

— Я понимаю, предложение неожиданное, но вы подумайте. Вам необходимо расти, а мне нужны люди, пусть и не до конца разделяющие мои взгляды, но, во всяком случае, неспособные предать.

— Вы это серьезно, Светлана Андреевна? А как же Федор Ильич?

— Я бы его с меньшим удовольствием выперла, но он нужен. В качестве старшего воспитателя. Никто лучше его не знает детей и воспитателей. И потом, он не из предателей, он из попутчиков: с кем по пути, с тем и идет. Но держать его нужно на коротком поводке, — улыбка стерлась, губы растянулись в тонкую злую нитку, — и высоко не поднимать.

— Я подумаю, — сказал Диванов, — а как с моим вопросом? На ребят даже записок об арестовании нет.

— Вот это упущение в работе, — Личанская нажала клавишу. — Лариса, разыщите мне Гусева. А вы отдыхайте, Юрий Викентьевич, вечером ваши протезы будут в отрядах.

1993, ноябрь

Вот уж не думал Юрий Викентьевич, что прощание с Калугиным так больно отзовется в ливере его. Ко времени вечной (как казалось

всем) разлуки их отношения настолько распрощались, что друзья могли месяцами не встречаться. Эрик Матфеевич уже почти год как не работал в спецшколе, отдав всего себя библиотеке и недавно устроенной им газете.

Прикипел Диванов сердцем к Вечному Диссиденту. Можно было не соглашаться с крайними точками его мирозидания, но трудно было не признать их стройность и некую оригинальную логичность, свойственную только ему, Калугину.

На прощальный вечер собрались у Жоры, в его маленькой кафешке на Первомайском, и сидели тихо, словно на поминках. Говорили полусшёпотом и о грустном. Народу прощального было немного, всё больше клубные, и Диванов с удивлением обнаружил, что друзей у Эрика Матфеевича — с гулькин нос. Если вообще есть.

— Россия свергнется в гражданскую войну, — неожиданно громкий голос Калугина прозвучал трубой иерихонской, разрушающей неприличную стену молчания. — Помяните моё слово, — оракулствовал он. — Все эти Белые дома, Останкины — только предвестники...

— Мрачновато ты настроен, — перебил его Кожевников. — У тебя впереди земля обетованная, жизнь безбедная, а ты о войне и крови...

Завсхлипывала, а затем в голос зарыдала очкастая студентка, имени которой Диванов не знал или позабыл, хотя часто встречал её в клубе. Эрик оставил свою пафосную речь и бросился успокаивать, несмотря на робкие протесты жены, Лады Федотовны. Вечеринка ломалась, и никто не торопился спасать её.

Студентка скинула калугинскую руку, передрнула плечами, стряхивая невидимое никому участие, и выбежала из кафе. За большими, в три четверти стены, окнами мелькнул её распахнутый плащ. Крылья не могушей взлететь птицы.

«Чёрт-те что! — подумал Диванов. — Похороны низшего разряда!» — и отправился к Жорке в подсобку.

— Дружище, плесни водки!

Брови у Георгия удивлённо изогнулись.

— Что же в зале-то не пьётся?

— Там водка солёная. Стенания и плач.

— «Смирнофф можжевельный» устроит?

— Устроит, даже усчетверит...

— Куда Эрик намылился?

— В Швецию. Там у него какой-то родственник обнаружился. По-моему, по диссидентской части.

Жора тоже сделал глоток.

— А ты уехал бы к родственнику?

Юрий пожал плечами.

— Мне никто не предлагал, да и куда деть «любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу»?

В подсобке было тесно — двоим не разминуться: коробки с сигаретами, вином и непонятого содержания баррикадно выстроились вдоль двух высоких стен, сжав маленький столик под маленьким же зарешеченным окном. За столик можно было попасть, только перешагнув его. А когда в помещенье втиснулся громоздкий Кожевников, клаустрофобичному Диванову стало и совсем невмоготу.

— Эмиграция бывает двух типов, — пробаритонил он. — Извините, господа, услышал край вашего разговора. Двух типов: политическая и рабья.

— Не понял, — протянул Георгий.

— Это когда человечиска ищет благ земных, наплевав на духовные. Древний русский поиск Китеж-града, Царства пресвитера Иоанна, донской вольницы, земли обетованной. Но Эрик Матфеевич не из тех и не из других. Он, мятежный, просит бури. Здесь дела исполнены, демократия воцарилась, бандитская, мать ети, надо что-то другое крушить. А почему бы и не шведский социализм?

— Я, впрочем, не за этим, я за тобой, — продолжил Кожевников, обращаясь к Диванову. — Там вроде всё устаканивается, но помощь твоя нужна, ну там пару песенок, анекдотец, ты же умеешь... Ваш рояль можно расчехлить? — это уже к Жоре. — Он настроен?

Под роялем подразумевалось очень скромное пианино «Красный Октябрь».

— Да, конечно, — стушевался умеющий дергать марку Жора. — И можно, и настроен.

Под энергичным напором без минуты доктора наук мало кто не тушевался.

К инструменту Юрий не прикасался и не упомянуть сколько лет, очень медленно озвучил незамысловатую гамму, прикидывая, что бы такое изобразить, и не нашёл ничего лучшего, как «Прощание славянки», но на пер-

вых же аккордах споткнулся от злости на самого себя.

«Ещё бы «Гибель «Варяга» сыграл», — ковырнул себя и перешёл к «Колыбельной» из «Порги и Бесс» Гершвина.

Подошла Лада Федотовна и запела голосом Эллы Фицджеральд. Или почти. Диванов попытался подделаться под Армстронга, но получилось худо.

Положение спас Гришка Солодов.

— Не ждали, черти полузадые? — закричал он, едва переступив порог. — Думали, хвосты обрубили? Гришку не обрубишь! Чтобы я друга по партии не проводил? Шиш!

Григорий был пронзительно пьян. От бороды до пяток

— Катерина, ты где? — крикнул в дверной проём.

У Диванова руки упали на клавиши, и пианино исторгло какофонический аккорд — Солодов пропускал Екатерину Фёдоровну.

Замешательство если и было, то совершенно незначительное, постороннему взгляду незаметное. Галантный Кожевников помог даме снять пальто. Гришка плюхнулся на стул, уже потерявший тепло студентки. А Эрик с нескрываемым раздражением сказал, что очень рад всем, кто пришёл проводить его.

— В последний путь! — прокричал Солодов. — Не чокайся! Такого парня теряем! Вождя!

На него зашикали, но Эрик не то что не обиделся — принял тон и настроение, сказав, что весь он не умрёт.

— Не надо переживать, — вставил Кожевников. — Лет через пять Эрик Матфеевич и его партия после третьего съезда в Стокгольме примут курс на свержение власти буржуазии на Святой Руси.

Аплодисментов не было.

Диванов бросил инструмент и вернулся на своё место. Теперь между ним и Анатолием сидела Екатерина Фёдоровна.

— Вот, случайно встретила Григория, — оправдывалась она, — и он сказал, что здесь собирается весь клуб, и почти силой затащил.

А клуб уже больше года в полном составе не собирался. Так, человека три-четыре. Умирать он начал в 91-м. Вдруг отпала потребность в библиотеке. Перестали работать глушилки — слушай хоть «Радио Ватикана», хоть «Би-би-си»,

хоть самую вражью «Свободу». На прилавки магазинов хлынули внешним половодьем ещё вчера невозможные книги: Авторханов? — пожалуйста, Аксёнов — будьте любезны, генерал Григорьев — с великой душой, Солженицын? — да сколько угодно! Захлебнитесь свободой! Диванов раньше других понял собственную бесполезность и плюнул на долго лелеемый «Информационный бюллетень». Эрик Матфеевич с ним разругался вразг и начал выпускать оппозиционную уже ельцинской, недавно любимой, администрации (он говорил — режиму) газеты «Колокол грядущего». Выпускалась она уже типографским способом и в отсутствие обкома и обллита могла нести всё, что захочет левая нога издателя.

Гришка Солодов, впавший в ступор после выпитого фужера, потряс лохматой головой и перекрыл постепенно нарастающий мелкопоместный шум.

— Внимание творцу!

И все разом, стесняясь и опасаясь скандала, примолчали, а Григорий, пошатываясь, дошёл до входной двери и поднял приставленную к стене картину. Она была небрежно обёрнута номерами «Колокола грядущего».

— Это тебе, Эрька! За ночь слепил, — Солодов запустил пальцы в бороду, как часто делал в раздумье, и яростно содрал упаковку.

Странная была картина, совсем не в духе Солодова, даже противоположна его духу. Небольшая, примерно 70х40, скорее всего, на ДВП, она являла снежный холм. И только три тёмные детали оттеняли снег, впрочем, не безукоризненной белизны: в левом верхнем углу на вершине холма притулилась часовенка. Времени исторических, ветхая, но целая, хоть и готовая вскоре лишиться чуть покосившегося креста, она сразу примагничивала взгляд своей сиротливостью и ненужностью. Второй деталью был фрагмент забора из диагональных кольев. Остальная часть то ли растащена, то ли разрушена — под снегом не разберёшь. И, наконец, глубокие следы, скорее всего, от валенок. Противоположная забору диагональ: от нижнего правого угла — к часовенке. И, несмотря на снежность, — всё мрачно и безысходно.

— Экзистенциализм, — сразу оценил Анатолий Захарович Кожевников.

— Не попал, — совершенно трезвым голосом возразил Григорий. — Никакой философии. Чистейший реализм. Критический.

Эрику Матфеевичу картина не понравилась, это угадывалось по опущенным уголкам губ, но отреагировал по-джентльменски:

— Спасибо, Гриша. Уважил. Я там... это... на самом видном месте, — и предложил тост за российское искусство вообще и за солодовское в частности.

Впервые на памяти Юрия Викентьевича у Калугина не хватило слов. А может быть, он и на самом деле растрогался?

Диванов почувствовал, что реактивно пьянеет. Его раздражало всё: театральность, какая-то выдуманность проводов, солодовская расхристанность, кожевниковское ухаживание за Екатериной Фёдоровной и её благосклонность этим примитивно-самским прыжкам. После очередного глотка он вдруг ясно осознал, что ревнует.

«Влюбился, что ли? — ухмыльнулся про себя. — Способен? Это вряд ли. Сороковник — не время для любовей».

Но не это было главным его смятением. Он до боли в груди чувствовал, что жизнь его преломляется, что пойдёт она далее по иному вектору, и ему очень не хотелось этого.

А пьянел не только Диванов. Потихоньку слетала с катушек вся компания за исключением Лады Федотовны — она совсем не пила.

Выезд за границу всё ещё воспринимался у нас как расставание навсегда. И вот эти обречённость, невозможность остановить или повернуть процесс, вдруг понятые Дивановым, окончательно разозлили его, и он решил разрушить этот искусственный диссидентско-обывательский мирок. Никакого подвига, никакого ореола, никакого великомученичества за идею в Эркином отъезде не было.

Диванов тяжело встал и снова подошёл к пианино. Поднял крышку и долго смотрел на клавиши. На него не обращали внимания. Он взял аккорд, другой и запел.

*Я в весеннем лесу пил берёзовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал...*

Гришка Солодов перестал тянуться к Эрику с брудершафтом и подхватил густым басом:

*Что имел — потерял, что любил — не сберёг,
Был я смел и удачлив, но счастья не знал...*

Запели почти все, но вскоре энтузиазм пошёл на убыль — даже самым пьяным мозгам стала ясна неуместность песни. Последний куплет не пел даже Солодов, зато Юрий Викентьевич поднял голос до максимального.

*Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье моей!
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного! Из пропащих! Своих! Сыновей!*

Ещё носился от стены к стене последний аккорд, ещё Диванов, опустив голову, отрешённо и опустошённо сидел за пианино, как сквозь обрушившуюся тишину раздался слабый и хриплый голос Калугина:

— За что, Юра?

— А давай ему морду набьём! — встрепенулся Солодов. — Нет, давай, а?

Он даже попытался встать, но прогрессивная общественность не дала ему встать на тропу войны.

А Калугин всё повторял почти беззвучно:

— За что, Юра?

2003, декабрь

Об аресте отца Макс узнал случайно. Он давно уже не заглядывал в свой двор — боялся, а тут потянуло — не удержался. Он и не удерживал себя, и не думал вообще ни о чём, и очень удивился, когда увидел перед собой отчий дом. Ну, пусть не отчий, но дом, где родился и вырос. Остановился в нерешительности, огляделся, помотал головой.

Максиму стало больно где-то внутри, выступили слёзы.

— Дом... дом... дом... — почти беззвучно шептал он, каждой клеткой ощущая, что нет у него дома, нет у него места, где он может ни о чём не думать, ни о чём не беспокоиться и... не плакать.

Он и сейчас не плакал, просто глаза протекли — запотели от снежной сырости и ветра.

Но вскоре Макс запоздало заоглядывался, вернулось почти никогда не покидавшее чувство опасности.

Рядом что-то ударило в землю, он вздрогнул, скосил глаза и облегчённо выдохнул — снежный ком сорвался с ветки старой берёзы. Надо было уходить, но он не уходил, вглядывался в кухонное окно, надеясь увидеть мать или, на худой конец, отца.

— Что, шпанёнок, высматриваешь? — услышал за собой дребезжащий голос. — Скоро и тебе за отцом в тюрьме сидеть. Добегаетесь, допрыгаетесь.

Макс обернулся: старуха из соседнего подъезда, согнутая, как маленький семафор, позыркивала на него узенькими глазками. Он посторонился, залезая в снег: тропинка была для одного.

Но старушка мимо не прошла, остановилась напротив, и оказалось, что они почти одинакового роста.

— Отец твой церкву обокрал, и кара будет на всём вашем роду до седьмого колена, — старуха подняла руку.

Макс съёжился, ожидая удара, но старуха отвернулась и зашагала дальше, не опуская руки.

Обдумывать было некогда — бежать. Скорее, скорее, пока ещё кого не встретил, указующего пальцем в небо.

«Какого колена?» — думал Макс на бегу. Это было непонятно и страшно.

На другой день, после многих часов сомнений и борьбы, уже ближе к полуночи, Макс решил — таки отправиться домой. Разузнать то-сё, мать проведать.

«Попадусь дак попадусь, — думал он. — В спецуху дак в спецуху. Всё равно туда, как ни верти».

Падал мелкий и сухой игольчатый снег. Тусклые и редкие фонари едва освещали дорогу. Тропуар был нечищен, но Макс не замечал грустных препон — ноги сами несли, знали куда.

«И зачем человеку голова, — смешно помыслилось, — если ноги за неё думают?»

Свет во всём доме горел только в двух окошках: у матери на кухне и старухи с поднятой рукой. Дрожь пробежала от затылка к ногам — про колена вспомнил. Про седьмое.

«Этой-то карге чего не спится?»

Минут пятнадцать простоял Максим, прис-

матриваясь и прислушиваясь. Ничего подозрительного. И за материнским окошком ни звуков, ни движений.

— А! — отчаянно махнул рукой и зашагал на второй этаж.

Дверь оказалась незапертой, не надо было и звонить. Чуть двинул её и замер. Тишина. Ещё чуть. Ни звука. Бочком протиснулся в прихожую, сделал два шажка до кухни и замер: мать лежала на полу и не дышала.

— Мама! — закричал Макс, бросился к ней и тут же остановился: тело шевельнулось, и открылся правый глаз. — Мама, — уже спокойнее, вполголоса, — что с тобой?

Максим опустил на колени и осторожно ощупал голову: вроде бы всё цело. И только тут до него донёсся до тошноты знакомый запах перегара.

— Максимка, — совсем не удивилась мать, — я сейчас, ты иди спи. Я сейчас.

«Не расчухалась», — решил он и оставил голову в покое.

На столе сиротливо стояла наполовину опорожнённая бутылка водки. Больше на нём не было ничего.

«Хорошо, еды взял, — Макс тряхнул паке- том. — Помрёт с голодухи. Теперь без папани и меня — бухать каждый день будет».

Зажёг газ, поставил кастрюльку с водой. (Надо же, чистая нашлась, да грязной посуды совсем не было.)

— Сейчас, мам, пельмешек со сметанкой.

От газа прикурил, сел ждать.

Теперь, когда отца снова посадили, придётся ему, Максиму, жизнь по-другому устраивать. Мамаша опять пить начнёт, вона, уже... А ему, Максиму, в спецуху надо. И срок свой отматывать побыстрее. После спецухи... но после спецухи никаких мыслей не возникало. Да и что там мыслить: два года — это до-о-о-лго.

— Сынок, ты как здесь?

Макс оглянулся. Мать сидела на полу и подслеповато разглядывала его, не соображая, явь это или пьяный бред.

— Пельмени варю, — ответил грубо и отвернулся.

— Это хорошо, — обрадовалась мать, — а то я уже два дня не ела. Тут такое было, — махнула рукой, — всё в доме перевернуто.

Максим молча обошёл мать и заглянул в комнату.

— Фьюить, — присвистнул, — татары, что ль, прошли?

В гостиной (или Максовой комнате, или как хотите) всё было наизнанку. На полу лежали ящики из комода, видеокассеты, три-четыре книжки (больше и не было), постельное и носимое бельё... В спальне предков — то же самое.

— Это что... там? — спросил, вернувшись в кухню.

Мать уже сидела за столом и пыталась налить водку в стакан. Руки дрожали, водка расплескивалась.

Федосеев-младший отнял бутылку.

— Щас пельмени будут.

Вода в кастрюльке закипела, и Макс высыпал в неё пачку «равиоли».

— Что там в комнатах? — спросил, уже зная, что там. Не бандитские же разборки.

— Милиция чего-то искала. Иконы, что ли? Или ордена какие-то. Не знаю толком. И меня допрашивал сердитый такой, маленький, и всё кричал: где попрягала? А что я попрягала? Я же в ваших делах ни при чём. Вы же мне ничего... — и заплакала, голову уронила на столешницу, руки на коленях. Жалкая до слёз.

— Ладно реветь-то, — впервые почувствовал себя взрослым и ответственным. — Нашли что?

— Не-а, ничего. Я спросила, а кто прибираться будет, а он: сама приберёшь, сучка. Тут отец на него налетел: какая она тебе сучка, но ударить не успел — скрутили. Ещё попинали.

Макс живо и болезненно представил эту картинку.

— Сидоров, ментяра поганый! Ну, я ему!

А что ему — промыслить не смог.

— Не надо, сынок. Ничего не надо. И так я за вас настрадалась. Сегодня к отцу ходила, передачку отнесла. Его же так и увезли — в свитере и штанах. На ногах кроссовки летние. Так я отнесла из тёплого и еды. А к нему не пустили.

Максим достал две глубокие тарелки и кинул в них по две шумовки пельменей, достал из пакета сметану и батон хлеба.

— Ты бутылку-то отдай, — попросила жалобно, словно милостыню. — Больно мне.

Федосеев молча пододвинул стакан, плеснул в него, посмотрел, добавил до половины. Не

глядя, опустил бутылку под стол. Там звякнуло. Наклонился, увидел три порожних. Если всё это после похода к ментам, то очень круто.

— Давно пьёшь?

Спросил под руку — мать закашлялась. Поставила стакан на стол,хватила ложкой пельмешку, обожглась, выплюнула и замахала ладонями. Макс кинулся и едва успел протянуть банку с чаем, что всегда стояла на буфете. Мать оклемалась и допила водку.

— Ты давай ешь, — сказал Макс строго. — Не кусывай, а ешь.

Но она и без запоя была едок никакой и шевелила ложкой больше для блезиру. Сам Макс мигом очистил тарелку и полез за добавкой. Дома елось как-то иначе, здесь даже чёрный хлеб казался вкуснее, а уж «равиоли» со сметаной! Пока Макс возился с добавкой, мать успела (откуда шустрость!) ещё налить на два пальца, но пила уже под осуждающим взглядом.

— А ты так в школу и не ходил? — попыталась спросить строго, но язык был непослушным.

— После Нового года пойду. Чего я там, Деда Мороза не видел?

— Ну и ладно, ну и молодец, — протянула руку погладить по голове, но сын уклонился.

— Я здесь переночую, утром пойду.

— Что вы, ироды, со мной делаете? — заплакала мать. — Сперва один, потом другой, а мне как жить?

— Поживи как-нибудь годик, — Макс и голос огрубил, чтобы мужиком себя выказать. — Я постараюсь по половинке через годик выйти. И учиться буду, и поведение, ну, как положено. А там чего-нибудь придумаем.

Из ходиков выскочила кукушка. Кукукнула два раза.

— Ого! Батя, что ль, наладил?

— Отец, — устало махнула рукой. — Ладно, иди спать.

Макс пошёл, у дверей остановился, оглянулся, и волна жгучей жалости к матери окатила его: она сидела беспомощная, никому не нужная и всеми оставленная. Как и сам Макс. Как, наверно, и отец там, в камере.

2004, январь

Всё происходящее казалось сюрреальным. Ночная иллюминированная площадь была полна карнавальным народом. Маски, маски, маски. По большей части отвратительные и даже ужасные рожи. «Где же зайчики, мишки и даже, чёрт возьми, обезьянки? — думал Юрий Викентьевич. — Отчего надо нацепить этот компьютерный кошмар? Неужели ничего нашего, национального, в нас не осталось? В какой я стране?»

И тут в противовес его мыслям где-то рядом заиграла гармошка или баян. Частушечные переборы зазывали, подначивали, но никто не пел, и Диванов, зализывая поцарапанную душу, ринулся на звуки.

Плотный ряд окружал баяниста, оставляя вокруг него немного пространства. На музыканте была расшитая рубаха, на голове — колпак. Рядом с ним — густо нарумяненная девушка в сарафане, курточка расстёгнута.

— Смелее, смелее! — подбадривала девушка. — Вас ждёт очень хороший приз! Ну, кто? Нет храбрых? Ладно, я начну, а уж вы следом!

*Шишка старая лежала
за околицей села.
Девка шишку приласкала,
шишка встала и пошла.*

В толпе взвизгнули, и в круг вкатилась невероятных размеров бабища без маски. Да и без надобности ей она: лицо красное, телеса студенистые, но голос, к изумлению, оказался чистым и звонким. Глаза закрыть — девочка поёт.

*Ах, ты, милка, моя милка,
встань у ближнего куста,
покажи мне, моя милка,
эrogenные места.*

Тоскливо стало Юрию Викентьевичу. Где у этой бабы эrogenные места? В две недели не сыщешь. Хотелось уйти и плакать, но вместо этого вытащил фляжку с водкой, сделал большой глоток и остался слушать.

Ещё вышло несколько человек, но всё получалось скудно, пошло и неинтересно.

— Приз вручается, — девушка подошла к студенистой женщине. — Как вас зовут?

— Розалина, — пропела она.

Диванов хихикнул и пошёл прочь.

Он уже не понимал, как это его, всегда чувравшегося толпы, вдруг потянуло в эту нелепость, в этот эпицентр всемирной тупости и разврата. Но и вернуться домой было невозможно: реверс той же медали.

«Почему в мире всего два знака, — неожиданно подумалось, — плюс и минус? Правда, есть ещё ноль, но это только в математике, в жизни его нет».

Отхлебнул водки из фляжки и тут же обругал себя: «Дурацкая философия».

Безмысленно вышел на детскую площадку, тоже заполненную народом, уселся на чудом свободную качель и принялся раскачиваться. В двух шагах стояла разновозрастная компания, пила шампанское из одноразовых стаканчиков и подпевала магнитофону:

*Боже, какой пустяк
сделать хоть раз что-нибудь не так...*

«А и на самом деле, — опять включился думать Диванов, — сделаю что-нибудь не так».

Но что не так, в голову не приходило. Напиться до свиньи? Снять крутозадую бабёнку? Все эти не так двести раз пройдены, а дальше мысли не шли.

— Скучаете, молодой человек? — услышал голос рядом и вздрогнул — настолько прозвучало неожиданно и приятно: в пятьдесят всё ещё молодой человек.

Рядом стояла явно съёмная девица: волосы цвета красной меди, макияж вульгарнейший, юбка если и была под короткой курточкой, то весьма условная, ажурные колготки, длинные сапоги.

— До вашего появления скучал, — игриво ответил Диванов и неуклюже соскочил с качели. — Давайте за ради знакомства выпьем водки. Я — Юрий. А вы?

— Лара. Только я, к сожалению, водку не пью.

— Жаль. Жаль, — промямлил Диванов. — Дома у меня шампанское есть, — и тут же спохватился, — но ко мне нельзя: теща, жена, ребёнок...

— Бедняжка. Вы от них сбежали?

— А! Надоел тихий семейный вечер. Дойдём до магазина? Я вина возьму...

В круглосуточном маркете было безлюдно, и даже продавщица вышла из подсобки не сразу.

— Что брать будем? — спросила, гася хмельную улыбку.

— Вам, Лара, красное или белое? Сухое или сладкое?

— Возьмите лучше шампанского.

— Куда пойдём? — спросил Юрий Викентьевич, едва вышли из магазина.

— Ко мне! — жизнерадостно воскликнула Лара.

— Это рядом. И возьми меня под руку — холодно.

За магазином они свернули налево, в переулок. Диванов пытался острить, но получалось не очень. Девушка искусственно похохатывала.

Они обходили сугроб, отчего-то выросший посреди переулка, когда Диванов почувствовал сильный удар по затылку, потом ещё один, потом — темнота.

II

— Помогите! — закричал Макс, едва влетев в комнату. — Там Диван в крови! Да шевелитесь вы!

— Что за диван? — встрепнулся дремавший за столом Иван Иванович. — Отчего паника, юнга?

— Кончай шутить! — продолжал орать Макс.

— Там Юрькентьич, учитель, в крови!

Из кухни вышел Вася, заваривавший там чифир.

— Объясни толком, Максим, в чём дело?

— Потом, — сбавил тон Федосеев, — пойдёмте приведём его, а то или помрёт, или замёрзнет. Он хороший мужик, его избили и ограбили.

Юрий Викентьевич уже не лежал — сидел, прислонившись к сугробу, держался за голову и слабо постанывал.

— Юрькентьич, вы живой? — спросил Макс, робко касаясь рукой плеча. — Шас. Всё тип-топ.

Вася и Иван Иванович нерешительно топтались рядом.

— Ну, что вы стоите? — скомандовал Максим.

— Давайте подымайте. Только осторожно.

Вели медленно, но не тяжело — Диванов пе-

ребирал ногами. Судя по всему, он не сообразил, что с ним происходит, кто эти люди, включая Макса, и куда его ведут.

Очнулся Диванов от острой боли. Он механически ударил по чьей-то руке, ощупывающей его голову.

— Оклемался, сердешный, — услышал женский голос и открыл глаза.

Сквозь красную пелену увидел женский силуэт. Застонал, кривясь от боли.

— Сиди тихо, не дёргайся. Я споро.

Тёплая вода и раздражала, и успокаивала.

— Сейчас я тебе маленько прическу испорчу, — женщина ловко щёлкала ножницами, — теперь стрептоцид... Не жених, конечно, но жить-то будешь. Тебя бы в больничку надо, вдруг сотрясение? Ладно, завтра видно будет. Водки ему не давайте, — обратилась куда-то в сторону.

Юрий Викентьевич повернул голову и увидел два расплывчатых силуэта. Не два — три. Третий маленький.

— Где я?

— У людей, — ответ показался насмешливым.

— Юрькентьич, вы меня не узнаете? Это я, Макс Федосеев.

— Максим? А ты как здесь?

— Отставить допрос с пристрастием, — тот же насмешливый голос. — Вот, хлебните чифиру. Лекарство от ста болезней. Аккуратнее — горячий.

Диванов взял кружку двумя дрожащими руками и осторожно глотнул. Вяжущая противная жидкость обожгла, но он превозмог и сделал ещё три глотка.

— Ну, я пойду, — сказала женщина, — а то мои с гулянки вернутся, а меня нет.

— Давайте-ка, Марья Тимофеевна, отметим Новый год, у нас шампанское почти не тронуто.

Рана ли успокаивалась, чифир ли помог, но Диванов почти чётко увидел говорящего: высокий, худой, с морщинистым лицом и неопределяемым возрастом мужчины. Может быть, его, Диванова, лет. Тот заметил взгляд, подошёл и протянул руку:

— Василий.

— Юрий.

— Что, Юра, продолжим новогоднее прик-

лучение? Только вот медицина вам на водку вето наложила.

— А я вето отменяю.

— Если у вас сотрясение, — вмешалась Марья Тимофеевна...

— Нечему там трястись, всё уже растряс, — перебил Диванов и, морщась, встал.

Макс бросился помогать.

Прошли в кухню. На пятерых оказалось три табуретки, но Вася откуда-то притащил доску, и все разместились. Разливал Иван Иванович: Марье Тимофеевне шампанское, Максу колу, мужикам водку. Перед стаканом Юрия Викентьевича дрогнул, остановился.

— Может, не надо?

— Надо, Федя, надо.

— Меня Иван Ивановичем зовут.

Диванов встал.

— Спасибо, люди добрые. Сегодня я увидел линию между добром и злом. Одни меня избили и обобрали, другие подобрали и вылечили. За вас и с Новым годом.

Получилось патетически, но Диванов словно не сам говорил: что-то включилось внутри, и это что-то вещало устами Юрия Викентьевича.

— Чего уж там, — смутился Иван Иванович. — Каждый бы так... Это всё Максим... Да соседка наша Марья Тимофеевна... С Новым годом!

После минутного молчания Диванов спросил:

— А что со мной произошло? Я почти ничего не помню: ёлка, частушки, какая-то девица — всё.

— Вы тут разбирайтесь, а я побегу, — решительно отказалась от второго стакана шампанского Марья Тимофеевна. — А вам если плохо станет, вызывайте «скорую».

Диванов ещё раз долго и путано благодарил её, даже попытался проводить, но медсестра оказалась проворнее.

— Как я всё-таки попал сюда? — снова спросил Диванов, оглядывая убогую кухню.

— Давай, Максимка, рассказывай, — приказал Иван Иванович.

Макс так и не определился, как себя вести. С одной стороны, Диван — учитель, бывший режиссер, и может в любой момент взять его за шварник и отвести в школу, с другой, Максим как бы спас ему жизнь, и сидит он среди бичей, и пьёт с ними водку. Не стоило далеко заглядывать. Видно будет.

— В общем, Новый год встретили, я пошёл гулять. Туда-сюда, на площадь сходил...

— Золотишком промышлял, — пьяно хихикнул Иван Иванович, но Макс на реплику внимания не обратил.

— Ну, у магазина вас увидел и — в сторону. Ведь я типа в бегах, но я в школу, Юрькентьич, обязательно вернусь. После Рождества...

— Потом каяться будешь, рассказывай дальше.

— Девка с вами была подозрительная. Я её раньше видел. Мужиками промышляет. Кто такая, откуда — не знаю, но видел. Я немного подождал — и за вами. Как чувствовал нехорошее. Завернул в переулок, а там никого. Ну, думаю, куда подевались? Иду тихонько, гляжу, вы лежите. Я хотел поднять — не смог. Тяжёлый вы. Мужиков позвал, они и притащили. Хорошо ещё соседка врачиха. Сперва сказала «скорую» вызвать, но потом сама пришла. Клёвая тётка.

Диванов похлопал по карманам пиджака.

— Куртка моя где?

— А сняли с вас куртку.

Пригорюнился Юрий Викентьевич. Куртку Виктория две недели назад подарила. Дорогая и красивая.

— Денег-то много было?

— Много. Рублей восемьсот. И мобильник.

— Юрькентьич, — Макс решил взглянуть в глаза учителю, — вы меня в школу не отведёте?

— Меня бы не отвели, — усмехнулся Диванов. — Успокойся, я теперь твой вечный должник. И мы теперь с тобой на одной площадке. Правда, в отличие от тебя, я могу в школу не возвращаться.

— Во! — почему-то обрадовался Иван Иванович. — Давайте выпьем за пополнение нашего бичёвского племени.

Шёл уже пятый час 2004 года, но Юрию Викентьевичу казалось, что прошла вечность. Макс и Иван Иванович ушли спать.

— Ещё выпьете? — спросил Вася, едва они остались одни.

— Да, — кратко выдохнул Диванов и осторожно ошупал рану на голове. Терпимо.

Удар по голове выбил домашний хмель, а теперь водка не разбирала, но становилось легче, раскрепощеннее. Обстановка этой убогой квартиры, в которую прежде он побрезговал

бы и зайти, располагала к откровенности и безыскусности.

— А вы меня, Юра, не помните? — спросил Вася. — Мы ведь с вами знакомились году так в восемьдесят девятом или девяностом.

Диванов пристально, даже неприлично вглядывался в Васино лицо, но ничего не вспоминалось.

— Вероятно, частичная амнезия, — усмехнулся он.

— Нас Эрик Калугин знакомил. В вашем клубе. Я там был однажды.

— Да, да, да, — согласно закивал головой Диванов, хотя так ничего и не вспомнил. — Хорошее было время. А вы Эрика откуда знаете?

— На зоне пересекались, — ответил Вася, но углубляться не стал, и Диванов не настаивал. — А что время хорошее — возможно. Только где теперь все эти бунтари, с наслаждением ломавшие страну? Те, что далече, или успокоились в сытой жизни, или продолжают лаять в тоске о недолманной России. Двое ваших — в гордуме в вечной неконструктивной оппозиции. Один аж в Государственной! Да что-то его не видно-не слышно.

— Уже нет, — тоскливо ответил Диванов. — Умер. А может быть, убили. Кто ведаёт?

— Извини, не знал. Я к чему это говорю. Ломать мы все горазды. Как большевики в семнадцатом: «Мы старый мир разрушим до основания». Ну, разрушили, а кто строить будет? Вот и Эрик Калугин: здесь рушил, в Швеции социализм строит. Как-то всё по-дурацки непоследовательно.

Диванов согласно кивал головой, иногда вставлял краткую реплику, краем сознания удивляясь плавности и стройности речи этого нескладного на вид, измождённого худого мужичка..

— Не стоит Эрку судить строго, — сказал он, разрушая паузу. — Мы все эмигранты. Я родился в другой стране, присягал другой армии, смотрел другие фильмы, спектакли и телепередачи, давился в очередях, ездил на Чёрное море, материл советскую власть на кухне...

Диванов устал. Налил себе полстакана водки — у Васи стакан стоял нетронутым.

— Это ты верно сказал, — согласился Вася. — Но ты и в этой стране работаешь, пусть на море не едешь, но на не паперть хватает. Вот и костюм-

чик на тебе вполне респектабельный, и пацаны, чувствую, тебя уважают, а что тебе ещё надо?

Они незаметно перешли на ты, сближаясь, сочувствуя и понимая друг друга. Давно, со времён отъезда Калугина, не случилось Диванову ни с кем поговорить открыто и найти отклик. Может быть, с отцом Владимиром, но там совсем другая тема, терзающая больно. Было ощущение случайности, словно разговор в купе с попутчиком, когда можно говорить всё, что заблагорассудится: через несколько времени они разойдутся, чтобы уже никогда не встретиться.

— А поесть у тебя ничего нет? Прости, что я так бесцеремонно, но я в прошлом году парутройку бутербродов, а в этом и совсем ничего.

Вася сунулся в угол, пошуршал пакетами и почти торжественно извлёк громадную пищу.

— Под такую закуску можно ещё чуть-чуть.

Пицца была резиновой и невкусной.

— На ворованные деньги гуляем, — вдруг сказал Вася.

Диванов поперхнулся.

— Как это?

— Максимка устроил праздничный стол: и шампанское, и водка, и закуски — всё его. Мы не спрашивали, но откуда у него мани? Ясно не папа субсидировал — он у него в тюрьме.

— Петька в тюрьме? — ещё раз изумился Диванов. — За что?

— Я толком не знаю, Максимка на эти темы не очень разговорчив, вроде бы иконы из церкви вынесли. А ты знаешь его отца?

— Мой воспитанник. Из первых. Навоспитывал, — Диванов грохнул кулаком по столу, выпил водку и надолго замолчал.

«На что же я жизнь потратил? — думал он. — Закономерный финал? У Федоса-старшего вторая ходка, Федос-младший спас мне жизнь, а я сижу в бичёвской квартире и пью водку, взятую на ворованные деньги.

Боже, какой пустяк

сделать хоть раз что-нибудь не так, — опять всплыло в затуманенной голове. Да что раз, что что-нибудь, когда вся жизнь и всегда не так. И ничего не исправить. Нет времени. Цейтнот.

— А ты что преподаёшь? — прервал его мысли Вася.

— Историю.

— Должно быть, интересно, — Вася пытался

перевести разговор на более приятную для гостя тему.

— Интересно, пока не знаешь. Но чем больше углубляешься в предмет, тем острее понимаешь, что никакая это не наука, а так — собрание анекдотов, — Диванов и не заметил, что почти дословно цитирует Витюшу Разговорова. — Который час?

— Скоро семь.

— Мне и домой не попасть: ключи были в куртке.

— Может быть, поспишь? А там и разрулится как-нибудь.

— Сна ни в одном глазу. Давай ещё по воровской водке. Знал бы раньше — не стал. А теперь всё равно.

— Эк тебя разворошило. Я уже неделю за Максимкин счёт гуляю. И ничего — усмирил и совесть, и гордыню. Ты знаешь, кого он разул? Думаю, мужик ты не гнилой и Максимку не сдашь. Адвокатскую контору! Две штуки баксов! Они у нас, мы у них. Круговорот валют в природе.

— Ты за что, — Диванов припоминал спецшкольный жаргон, — на нарах парился? Не за воровство же, коли с Эрькой пересекался.

— А твой Эрька святой? На какие шиши он квартиру построил? На зарплату бармена? Святые там, — Вася указал глазами на потолок. — А парился, как ты говоришь, за любовь к литературе.

Вася разозлился не на шутку, покраснел, начал запинаться, хотя мог бы и не продолжать. В те времена былинные сесть можно было и за Синявского с Даниелем, и за Солженицына, и за «Экспресс-хронику», и за Ратушинскую, и за кого угодно неугодного.

— Извини, Вася, я не хотел тебя обидеть. Это последствие удара по голове, — Диванов был сконфужен. — Давай за тебя и... за литературу.

— Ты знаешь, — продолжил Диванов после жвачной паузы. — Как ни горько это сознавать, но я прожил никчёмную и бесполезную жизнь. Я прошёл по ней вольноопределяющимся. Без ссадин и ран, без любви и ненависти, без творчества и ремесла. Моя единственная любовь — история — оказалась шлюхой. В лучшем случае, она результат творчества выдающихся историков: Карамзина, Ключевского, Гумилёва, Фоменко с Носовским, впрочем, они не исто-

рики. Такого же творчества, как у писателей, художников, режиссёров. Вот ты с Иван Ивановичем из мира ушёл, а жизнь твоя исполнена внутреннего смысла. Ты её созерцаешь и пропускаешь сквозь себя, как монах...

— Это у тебя посттравматическое. Время пройдёт, и всё устаканится. Нормальная реакция. Депрессией называется.

— Не-е-т. Это у меня не сиюсекундное. Это выношенное.

Прошёл в туалет заспанный Макс. Через минуту заглянул в кухню.

— Вы чо, не ложились? Ой, доброе утро, Юрькентьич.

— Доброе, Максим. А почему только мне?

— Доброе утро, Вася.

— И тебе добра.

— Послушай, Максим, — озарило Диванова, — ты, говорят, вор классный. Замок можешь открыть? Да не пугайся ты, мой замок. Ключи у меня в куртке остались. А дома запасные есть.

Макс был польщён.

— Какой замок?

— Обыкновенный. Знаешь, хлопнешь — и закрыто. Потом — ключ.

— А вы на ключ или только захлопнули?

— Не помню.

— Ты далеко живёшь?

— Неплохо бы узнать, где я сейчас.

— На Энгельса.

— Тогда рядом. Я на Куйбышева.

Вышел Иван Иванович, осоловело осмотрелся, молча выпил полстакана водки и снова рухнул на лежак.

Вскрывать квартиру пошли втроём. Улицы были пустынные — народ отсыпался после бурной ночи. Странная троица являлась взорам редких прохожих: Вася был одет бедно, но очень чисто и аккуратно, Максим — расхристанно, а Юрий Викентьевич — нелепо. В тонком свитерке, помятом костюме, спортивной, прошлого века, шапчонке он выглядел инопланетно.

Попался навстречу мужчина лет шестидесяти, с тросточкой и в берете, с погасшей трубкой в зубах.

— С Новым годом, Василий, — сказал он, приостанавливаясь.

— С Новым, — кратко ответил, но прошагал мимо.

— Вы знакомы? — удивился Юрий Викентьевич.

— Ещё как! Во время оно мы вместе любили литературу, только он стал вторым секретарём обкома партии, а я — эком. Реликтовый коммунист, хотя убеждения в нём и не ночевали. Это он меня сдал. Недоказуемо, но он. Сейчас обком КПРФ возглавляет. Книжонку мемуарную издал. О своём диссидентском прошлом.

— Неисповедимы пути Господни, — выдохнул Диванов.

Замок открылся неожиданно легко.

— Вашу квартиру дошкольник обнесёт, — подбоченясь, сказал Макс. — Замки нужно покрепче поставить.

— Да пока Бог миловал. Заходите, гости дорогие.

— Ого, богато живёте, — быстро обойдя комнаты, констатировал Макс. — А замочек хлипкий.

— Чувствуешь профессионала? — Диванов подмигнул Васе.

Федосеев-младший почему-то обиделся.

— Да это же я так, без задней мысли.

— Ладно, проехали. Давайте я вас завтраком угощу, мне жена перед отъездом продуктов на год накупила.

— Вот, — отомстил Макс, — жена уехала, а вы шалаву снимать. Хорошо ли это? Я Юльке никогда изменять не буду.

Диванов оторопело остановился у холодильника. Вася хитро поглядывал на обоих.

— А ведь ты прав, Максим. И эта рана, — он коснулся рукой головы, — заслуженная. В этом мире ничто не проходит бесследно. За всё надо платить.

Расположились в кухне, благо, просторно в ней было. Пластинки форели и буженины, мясной салат, люля-кебабы с картофелем фри из микроволновки, запотевшая бутылка «Путинки» и литровая бомба пива «Амстердам» зазывно и быстро расположились на столе.

— Извини, Максим, «колы» нет. Квас будешь? Или чай?

Макс выбрал квас, быстренько нахватался всего по чуть-чуть и умёлся, намекая на срочные дела.

— Волка ноги кормят, — сказал он перед дверью.

— Хороший парень, — вздохнул Вася, — а пропадёт.

Решение назревало медленно и никак не формулировалось. На диване мягко, по-детски посапывал Вася, но его посапывание не раздражало, наоборот, вносило в решение не отчаянный авантюризм, а пусть крутой, но со всех сторон обдуманый поворот.

Проснулись одновременно и под вечер.

— У тебя что-нибудь осталось? — хрипло спросил Вася.

— Да. Глянь на столе в кухне. Или в холодильнике. — Голова болела, и слегка подташнивало.

Диванов прошёл в ванную, натянул Викину купальную шапочку и долго стоял под тёплым душем. Дважды заглядывал Вася справиться, жив ли хозяин.

В халате, начисто выбритый и почти здоровый, уселся Юрий Викентьевич напротив Васи.

— Нет, нет, — сказал он решительно, — водку не буду. Где-то должен быть «сухарь». Завтра предстоят великие дела.

Вася, уже живой, как тимуровец, метнулся к холодильнику, нашёл початую бутылку «Шардоне» и налил в фужер.

— Спасибо. Я бы и сам. Ну, за новую жизнь.

— То-то мне не нравится твоё настроение, — пронизательно заметил Вася. — Что-то ты не то надумал, мне так кажется. Не суицидно?

— Нет, царь, я христианин. По крайней мере, пытаюсь быть им.

— Тяжело? — усмехаясь то ли на царя, то ли на христианина, спросил Вася.

— Тяжело. А ты крещённый?

— На зоне крестили, — ответил неохотно. Видно, ему тоже нелегко было быть христианином.

— А ты знаешь, в чём прелесть алкоголизма? — резко переменял тему Вася. — В отходняке. Мне всегда было интересно, что происходит в мире в то время, когда я в вырубоне? Он тоже там (в смысле — мир) или живет своей, независимой от меня жизнью? Если последнее, то очень обидно. Но, как выяснилось позже (за что я и люблю эту безграничную ограниченность), окружающий мир если и ушел от меня, то не очень далеко. Во всяком случае, распутинское «Не могу-у-у» зазвучало привычной какофонической музыкой.

Самое прекрасное в штопоре — это выход из

него. Кому из пьющих неизвестны эти этапы: легкий кайф — просто кайф (или кейф, если тебе угодно) — тяжелый кайф — продление агонии (совсем без кайфа) — и, наконец, мучительное ожидание смерти как избавления от мук тела и совести. Трамер нервов, чувство вины перед всем и каждым, ощущение себя на самом дне, острая нехватка воздуха, легкий толчок ногами и медленный подъем на поверхность, где ждет тебя одурачивающий глоток воздуха. Вот где прелесть алкоголизма — в этом глотке.

Сколько может продолжаться агония? Ровно столько, сколько может выдержать организм. Что сверху? Что сбоку? Что с какой угодно стороны?

Я знаю: если завтра не встану — не встану никогда. Значит, нужно вставать, пройти хотя бы пару шагов, потом еще десяток, затем — сотню, а может быть, потом, за этими шагами, откроется другой, еще неведомый, но кому-то нужный шаг.

Однажды всё кончается: и угрызенья совести, и телесная несостоятельность, и всяческая боль. Начинается не то что Ренессанс, а понимание, что ты выжил, что вальс-финал всем болячкам, что пошли вы все...

— Да ты поэт, — усмехнулся Диванов.

— А ты ничего подобного не испытывал?

— Нет. Я больше двух дней кряду не пью. Не принимает тело. Да и пить мне чаще всего не с кем.

— У тебя что, друзей нет?

— Друзей? — Диванов задумался. — Пожалуй, нет. Если не считать школьных и по институту. Но и там: с глаз долой — из сердца вон. Был ещё Эрик Калугин, но и с ним разбежались. Кто ещё? — запнулся и махнул рукой. Не говорить же о том, что единственным другом сквозь всю жизнь была мама, но понял он это только после её смерти. И посейчас её образ возникал в сложные минуты: и советовал, и оберегал. Этого никому не расскажешь.

— Ничего, — попытался утешить Вася, — даст Бог, мы подружимся. Я чувствую, между нами что-то есть.

— Не успеем.

— Чего не успеем?

— Подружиться не успеем. Я, вероятно, скоро уеду.

— Надолго?

— Если всё получится — навсегда.

— Что, решил судьбу пережитрить? — съехидничал Вася.

— Не мы судьбу делаем, судьба нас.

Задумчиво выпили и надолго замолчали.

Мысли Юрия Викентьевича от предначертанности судьбы опустились до бытового уровня. Он спокойно, словно со стороны, обдумывал, кому позвонить, а куда явиться собственной персоной, что написать, как объяснить всё Вике, взять ли всю записку в двести евро или разделить её с женой.

— Ты вот давеча сказал, — Васе молчание стало невмоготу, — что жизнь моя смыслом наполнена, что я её созерцаю и через себя пропускаю. Это ты от радости выживания выдумал, утешить меня хотел. А я ещё на зоне решил: не буду на это царство-государство горбатиться. Потом и царство развалилось. Ткнулся я в новое, а никому не нужен. Да и что я такое? Ни специальности, ни образования. Меня на пятом курсе филфака посадили. Вот и решил я самого себя пережитрить — от водки умереть. Вроде бы и не суицид, а?

— Если сознательно — самоубийство, — безжалостно отрезал Диванов. — Ладно, это твои дела. Не мне тебя учить. А вот насчёт Максима просьба: уговори его в школу вернуться. Хуже ему уже не будет. Раньше срока теперь не освободят, а вот на очередной краже попадётся... Впрочем, ему четырнадцати ещё нет. Не используйте его в качестве кормильца-поильца. Пообещай.

Ничего Вася не ответил. Встал и пошёл.

— А на посошок? — крикнул Диванов в прихожую.

Вася проявился в дверном проёме: одна рука в рукаве, другой помахал.

— Удачи тебе, Юра.

Суббота для человека, а не человек для субботы.

Творить? Но на время не стоит труда, на Вечность творить не умею.

Я сидел на замшелом валуне и слушал тонкую музыку волн. Это тоже было Слово. Считают, что вода — главный носитель информации. Может быть, это и не так, но я отчего-то понимаю говор волн. Не какие-то отдельные слова, фразы, текст, а Смысл. Смысл Вечности.

Этот замшелый валун, эти волны, этот храм Преображения Господня за моей спиной и всё-всё вокруг — конечно, а Смысл вечен...

Мне медленно становится понятной любовь миллиона сперматозоидов к одной яйцеклетке. И торжество одного, и бесславная гибель миллиона. Или 999 999.

Когда-то отец Варсонофий предложил мне написать историю монастыря и служить библиоотекарем. Я отказался. Свои истории я уже написал. Я теперь вон как та столетняя бесплодная яблоня. Смоковница. Как всё туманно и грубо. И почему такие ясные, стройные, исполненные логики мысли трансформируются в грубые, неуклюжие и туманные фразы? Но я привык записывать свои мысли — это единственное, что осталось от прежнего.

Всё исполнено смысла: и ножик Каина, и соляные столбы, и разрушение Помпеи, и гриб над Хиросимой, и гибель миллиона неизбранных сперматозоидов. Только нам не дано постичь Его. И не надо тшиться.

Надо смотреть на огонь, воду, землю и небо. Где-то в них и Вечность, и Смысл. А если их там нет, зачем я был на Земле?

Я хотел познать всё — не познал ничего.

Я хотел любить весь мир — не полюбил никого.

Я живу вторую (третью, четвёртую) жизнь? Где я тот, вчерашний? В своей жалкой гордыне великих открытий, в своём ужасном восприятии себя как личности исключительной, в своей унижительной требовательности любви к себе — нет меня.

Дни мои сочтены, и я только не знаю их количества. Страшусь ли я могилы? Скорее нет, чем да. Не буду лукавить, мне хотелось бы увидеть мир и через 5, и через 20 лет, удивиться или ужаснуться. Но остаётся Надежда, что увижу оттуда.

У меня нет прошлого и нет будущего. Есть волны, которые то гневливо разбиваются о замшелые валуны, то в любовной истоме ластятся к ним, есть земля, в которой я монотонно копаюсь, видя успение её плодов и скорое воскрешение. Этим и живу.

И в конце тоже будет Слово...

□

Алексей ЛИВАНОВ

родился в деревне Крошнозеро

Пряжинского района Карелии.

Окончил Петрозаводский государственный университет.

Преподавал в школе.

Публиковался в поэтических сборниках:

«Трилистник», «Я волю дал любви», «Волны трав»,

в журнале «Север».

Живёт в Петрозаводске.

